

Александр Валентинович Амфитеатров

Старое в новом



Александр Амфитеатров

Старое в новом

«Public Domain»

1904

Амфитеатров А. В.

Старое в новом / А. В. Амфитеатров — «Public Domain», 1904

«Ветхозаветный библейский мир сравнительно слабо отражён сказочною фантазией христианских народов. Собственно говоря, это странно: казалось бы, времена чудес, какими полна каждая страница Пятикнижия, книги Иисуса Навина, книги Судей, Пророки, воинственный эпос книги Царств и Маккавейской, должны были глубоко запасть в душу дикаря-неофита когда он менял простодушную мистику своей первобытной, стихийной мифологии на возвышенную простоту религии Христа, за которую, как основной фон её, просвечивала религия Моисея и тысячелетняя таинственная история „избранного“ народа, ею созданного, ею управляемого...»

© Амфитеатров А. В., 1904

© Public Domain, 1904

Содержание

Илья-Громовник	5
Иван Купало	14
Красное яичко	24
Неурожай и суеверие	31
Вербы на Западе	37
Зеленые святки	43

Александр Амфитеатров

Старое в новом

Илья-Громовник

Ветхозаветный библейский мир сравнительно слабо отражён сказочной фантазией христианских народов. Собственно говоря, это странно: казалось бы, времена чудес, какими полна каждая страница Пятикнижия, книги Иисуса Навина, книги Судей, Пророки, воинственный эпос книги Царств и Маккавейской, должны были глубоко запасть в душу дикаря-неофита когда он менял простодушную мистику своей первобытной, стихийной мифологии на возвышенную простоту религии Христа, за которую, как основной фон её, просвечивала религия Моисея и тысячелетняя таинственная история «избранного» народа, ею созданного, ею управляемого. Между тем, заглянув хотя бы в связанные с церковным календарём легенды, поверья и предания древней Руси, мы найдём, что грандиозные фигуры Моисея, Самуила, Давида, Исаии, Иеремии или не оставили в них вовсе следа, или – только мимолётный, гораздо бледнейший, чем даже второстепенные и третьестепенные деятели христианской эры. Как будто – новообращённым народам Ветхий Завет становился известен не сразу, но – когда они уже выходили из своего, так сказать, эпического детства, отказывались, – за привычку, – от потребности поставить на место старой своей, ныне запретной мифологии, новую, извлечённую из неправильного понимания книг Св. Писания и Предания. Книжники древней Руси знают Ветхий Завет в совершенстве, но книжники – не народ, а раскольничьи хитросплетения на ветхозаветные темы нельзя принимать за вышедшие из глубины народного мировоззрения: это – византийское, схоластическое веяние, достояние интеллигенции XVI и XVII веков, которое влияло на ограниченный кружок письменных людей, распространяясь в народе вряд ли больше, чем, например, современные религиозно-философские достояния интеллигенции, – спиритизм и теософизм, – откликаются в современном народе. Адам, Каин и Авель на луне, бряцающий на лире царь Давид, маг Соломон – вот едва ли и не все библейские образы, произведшие на народную фантазию столь сильное впечатление, что она отозвалась на них самостоятельным творчеством. Царя Давида мы видим главным действующим лицом в апокрифе, ставшем народным в излюбленном духовном стихе древней Руси «О книге Голубиной»; имя и характер Самсона сохранились лишь, как намёк, в былинах о «старших» богатырях; Соломон зашёл в народ не столько из библии, сколько из восточных сказок, с характером царя-чародея из «Тысячи и одной ночи». Народ создавал десятки легенд о Козьме и Дамиане, Борисе и Глебе, Фроле и Лавре, о св. Сисинии, грозе лихорадок, о Параскеве-Пятнице, не говоря уже о святых любимцах его воображения – ап. Петре, Иоанне-Крестителе, Николае-Чудотворце, но в ветхозаветный пантеон он почти не заглядывает – мир *ante Christum natum* оставался в ведении книжечеев, начётников из «интеллигенции», едва ли не до последнего времени, т. е. до школьной грамотности. Обстоятельство это, быть может, – отчасти искусственного происхождения. Нам известно из истории первых веков христианства, что оно не сразу примирило учение Евангельское с наследием Моисея и пророков, что были секты, полагавшие Ветхий Завет совершенно упразднённым через Новый, а иные из ересей гностических доходили в последовательном развитии этой идеи даже до той крайности, что вовсе отменяли Ветхий Завет, как порождение обмана, в который ввёл человечество низший дух, властитель земли, – враг верховного Божества и «эона» Иисуса, ниспосланного, чтобы спасти обманутую духом-самозванцем землю. Так как слабое влияние ветхозаветной истории на народное творчество, отмеченное для русской легенды, почти таково же и на Западе, то, быть может, не будет неосторожным предположить, что первые миссионеры христианства у кельтов, германцев, славян, – памя-

туя недоразумения, какими неоднократно отзывалось столкновение грозных фактов библейской истории с краткою евангельскою моралью в умах робких, неопытных и ещё нетвёрдых в вере, – не слишком усердно настаивали на ближайшем знакомстве неопитов с Ветхим Заветом, довольствуясь краткими его обзорами – конспективного характера, вроде тех, что встречаем мы у апологетов II века или у Нестора. Известно, что католическая церковь объявила в средние века библию книгою, опасною для чтения частных лиц, и воспретила последним иметь её на дому, особенно, в переводе с латинского текста. Косвенное отражение того же взгляда находим мы в житии св. Никиты, епископа Новгородского (ум. 1108 г.), одного из первых затворников Киево-Печерской лавры. Когда он был в затворе, «бес, явившийся в виде ангела, дал ему совет оставить молитву и заниматься только книгами, а на себя принял молиться за него и молился в виду его. Скоро стал Никита прозорливым и учительным. Никто не мог сравниться с ним в знании книг Ветхого Завета; он знал их на память; но книг Нового Завета он чуждался. По этой последней странности поняли, что он обольщён. Игумен и подвижники печерские, помолясь о заблудшем брате, прогнали беса-прельстителя. Они вывели Никиту из затвора и спрашивали о Ветхом законе, желая что-нибудь услышать от него. Но он с клятвою уверял, что никогда не читал книг. Тот, который прежде знал наизусть все ветхозаветные книги, теперь не помнил ни слова, и отцы едва, научили его грамоте». Впрочем, незачем забираться в глубь веков. Всего в первой половине нашего столетия, предприятие русского перевода библии было встречено большим недоброжелательством Фотиевой клики, послужило поводом к пылким спорам чуть не об ереси и, во всяком случае, о неблагонадёжности религиозной, и испортило жизнь о. Павскому, перевод которого так и остался недоконченным. Когда Лесков, в одном из полуисторических рассказов-анекдотов своих влагает в уста известного ханжеством своим фельдмаршала Остен-Сакена совет: «Не читайте библии, – это мирская книга!» – он выражает лишь мнение, действительно, распространённое среди многих теологов: для всех-де – толкования библии, самая же библия – лишь для умеющих обращаться с нею богословов-специалистов.

Но один из самых величественных ветхозаветных образов, дойдя до сведения народного, поразил фантазию обращённого язычника слишком ярко, чтобы не запечатлеться в ней на века вечные, не сродниться с нею, не стать в ней на одно из первенствующих и властных мест – в непосредственной последовательности за самим Христом и Богородицею, наряду с «Егорием Храбрым» и «Миколою Чудотворцем». Образ этот – св. Илии-пророка. Величайший из ветхозаветных предтеч Христа, беседующий в буре, громах и в тихом ветре с Богом на Хориве, низводящий огонь небесный на жрецов Вааловых и воинов Ахава, питаемый врагами, возносящийся в небо на пламенной колеснице, запряжённой огнедышащими конями, пришёл к душе славянину-полуязычнику; последний увидел в нём христианское переложение исконного, стихийного бога громов и молнии, культ которого – общее достояние всех арийских народов, параллельное с культом солнечных богов. Можно с большою достоверностью предположить, что громовые и молниеносные мифы, соединяемые в фантазии простолюдина с именем Ильи-пророка, – древнейшие в ряду многочисленных приспособлений христианства к остову древнеязыческих воззрений. Глубоко знаменателен тот факт, что Илья-пророк – первый из христианских святых становится покровителем крещаемых киевлян и ещё до Владимира имеет в Киеве храм, рассадник будущей религии. Громоносец христианства борется с громоносцем-Перуном и побеждает его, как некогда побеждал Ваала.

Процесс замены бога-громовника Ильёю-пророком, как он свершался в славянских землях, легко проследить наглядно, если присмотреться к верованиям осетин (арийского племени, неизвестного происхождения, рассыпанного по ущельям между Владикавказом и Гудауром). Культурный уровень осетин вряд ли выше, чем предков наших в эпоху крещения Руси, а религия – странная смесь христианства, магометанских наслоений и первобытного язычества. В Осетии, как и в Чечне, мулла свободно кричит при колокольном звоне, языческий кумир покойно стоит в старой, оставленной церкви царицы Тамары. Как все первобытные религии

востока, хотя и прошедшие чрез ревнивое горнило магометанства, верования осетин полны демоническим началом; по всем стихийным мифологиям можно проследить, что где – яд, там и противоядие, где демоны, там и враг их – могущественный бог-молниеносец. Но последнего нет уже на осетинском языческом олимпе: он всецело и нераздельно уступил своё место и свои обязанности Илье-пророку, ныне главному покровителю Осетии, а сам исчез во мраке неизвестности. Пророк, всю жизнь свою воевавший против идолослужения «на высотах», сам покорил себе кавказские высоты. Впрочем, не только кавказские: имя св. Ильи носят теперь весьма многие горы, некогда посвящённые богам грома и молнии. Так, высочайшая вершина Эгины, где восседал когда-то обще-эллинский Зевс, в настоящее время также называется горою св. Ильи. В пещерах и других местах, посвящённых горными осетинами Илье, приносят в жертву ему коз: мясо их съедают, а кожу развешивают на большое дерево, пред которым совершают «дубровные празднества». В Ильин день просят «пророка» спасти от града и ниспослать богатую жатву. Если кого поразит гром, то все близкие радуются в уверенности, что убитый взят на небо Ильёю, кричат от радости, поют и пляшут около тела. Со всех сторон сбегаются люди, пристают к пляшущим и поют: «О, Илья, Илья! житель горных вершин!» Повторяя мерно этот крик, они, построившись в кружок, то приближаются, то отходят далее. Припев затягивает сначала запевала, а потом уже его повторяет толпа. По окончании грозы, переодевают покойника в другое платье и, положив на подушку, оставляют на том же месте и в том же положении, в каком он был найден, а затем поют и пляшут до полуночи. Родственники убитого так же веселятся, как будто на празднестве: грустный вид почитается оскорбительным для Ильи и впоследствии достойным наказания. Этот праздник продолжается восемь дней, по истечении которых свершается с большою торжественностью погребение. Над могилою насыпают кучу камней и подле неё с одной стороны вешают на высоком месте чёрную козью кожу, а с другой – платье покойника. Путешествуя осенью 1888 года по Кавказу пешком, я неоднократно был свидетелем местного поклонения пророку Илье, сопровождаемого кровавыми жертвами. В Ильин день, в Анануре, говорят, вся церковная ограда бывает залита кровью ягнят, закалываемых во славу святого. После обедни, священник благословляет животных, приведённых на убой, и начинается бойня: часть битой скотины поступает в приношение священнику, а остальное мясо – на шашлыки, которые жарятся тут же на кострах. Это – самый весёлый день в горах. Костры пылают, вино льётся, и песни гремят до глубокой ночи. Обычай жертвенных общественных трапез на Ильин день держался, сравнительно в недавнее время, ещё кое-где и на Руси, – напр., как записал Сахаров, в селе Обыченском, Пермской губернии. Поселяне, на мирскую складчину, приводили с собою – кто быка, кто телёнка, убивали их и съедали всею деревнею. В Тульской губернии на мирскую складчину, в старину, пекли новый хлеб и раздавали его нищей братии от всей деревни. Памятью о старинных жертвенных пиршествах в Ильин день сохранились на Руси поговорки: «на Илью – баранью голову на стол», «Илья – бараний рог», «на Илью – барашка в лоб» и т. п., инде, впрочем, применяемые и к Петрову дню. В северных губерниях (например, в Новгородской, где память общественных праздников ещё свежа) существует сказание, что к пиршеству этому, ежегодно, выбегал из лесу олень, который и был закалываем для народного пира; в другом варианте, оленя заменяют две лани: одну из них убивали, варили и съедали, а другая уходила. Но однажды какой-то неправедный «поп Ванька» «замолил» обеих, и с тех пор лани перестали появляться. Слово «замолить», в смысле убить живое существо, как эхо далёких жертвоприношений, до сих пор звучит в народном языке. Изучая пресловутое мултанское дело, постоянно встречаешься с ним: «вотяки замолили человека» и т. п. Мотив легенды о чудотворном послании оленя на потребу верующим звучит в известном сказании из жития св. Макария Желтоводского. Когда Улу-Махмет отпустил Макария из полона, он с братией направился в Галич, лесами и болотами. Дело было в Петровки. Путники поймали лося, но Макарий убедил их сохранить пост и отпустить зверя на свободу до Петрова дня, обещая, что в этот праздник лось сам явится к ним на заклание. Лосю надрезали

ухо и пустили его в лес. В Петров день, когда настала пора путникам разговеться, меченный лось, действительно, пришёл и был «благопотреблён».

Грозная миссия бога-громовника уничтожать демонов всецело передана осетинами св. Илье. В ту же путину свою по Кавказу, я записал любопытное осетинское сказание, где горец, в ссоре с шайтаном, отдаёт себя под покровительство св. Илье, и шайтан стал бессильным над своим врагом, кроме шапки его, о которой осетин забыл помолиться: шайтан сдул вихрем шапку с головы осетина; жадный горец бросился догонять её, да так и до сих пор носится с горы на гору, из ущелья в ущелье, в упрямой, но бесплодной погоне; шапка всё катится от него, толкаемая вечным, неутомимым вихрем. Это – горная версия «Моряка-скитальца». (См. мой сборник «Сон и явь», рассказ «Блуждающий осетин»). В осетинской колыбельной песне, записанной мною на ночёвке под Казбеком, мать молит, чтобы Илья и падучая звезда спасли дитя её от нечистой силы. По объяснению моих спутников, падучая звезда, подобно молнии, – оружие, коим Бог и Илья-пророк уничтожают демонские полчища. (См. мой сборник «Грёзы и тени», рассказ «Ариман»). Галицийская легенда о происхождении мира, отмеченная резко дуалистическим характером, говорит, что, когда чёрт услышал, как ангелы славили Бога в песнях, он захотел тоже иметь подчинённых духов; для этого он омыл своё лицо и руки водою, брызнул ею назад от себя – и сотворил столько чертей, что ангелам недоставало уже места на небесах. Бог приказал Илье-Громовнику напустить на них гром и молнию. Илья гремел и стрелял молниями, лил дождём сорок дней и ночей: вместе с великим дождём попадали с неба и все черти; ещё до сего дня многие из них блуждают по поднебесью светлыми огоньками (т. е. падучими звёздами) и только теперь достигают до земли. Таким образом, падучая звезда – эта молния ночи – принимается то за орудие, то, наоборот, за самую злую силу, убегаящую от стрел громовника. В Малороссии думают, что не хорошо смотреть на «маньяка» – название падающей звезды, – и что куда он сверкнёт, – верный знак, что там девица лишилась невинности: поверье, сближающее «маньяка» со сказочными огненными змеями что летают к царевнам, одиноким жёнам-молодицам и красным девицам. Что огненный змей – воплощение молнии, дело ясное не только по тысячам характерных сближений (напр. у Афанасьева), но и по здравому смыслу по, так сказать, непосредственной наглядности в метафоре. Тамбовцы верят, что во время грозы летают огненные змеи-дьяволы, и стараются укрыться от метких стрел Бога или пророка Илии; если стрела достигнет змея близ стога, дома, церкви или дерева они загораются от брызг змеиной крови. Даже мусульмане, – при всей боязни ислама перед какими-либо воплощениями стихийных сил, из опасения идолопоклоннических соблазнов, – имеют предание, что, отчасти однозвучный с Илиею, исторически известный Али, двоюродный брат Магомета, восседает на облаках, и что гром есть его голос, а молния – бич, которым он наказывает злых. Пока народное воображение считает гром явлением отдельным от молнии, оно видит в последней гонимого громом змея-демона; когда научается сливать и гром, и молнию в одно явление, – принимает их за орудие преследования, а демона-змея предполагает или незримым для глаза человеческого, или укрывающимся под видом оборотней, Преследуемые стрелами Ильи-пророка, нечистые духи перекидываются змеями и другими гадами земными, говорит великорусская легенда. При неурожаях, болгары думают, что злые духи женского пола, змеевидные ламии, пожирают хлеб, и если бы не побивал их Илья-пророк, то земля вовсе бы оскудела. Переходя от метафоры к действительности, народ перенёс миссию гонителя змеев небесных на землю – к змеям, зверям и гадам обыкновенным. В Ильин день крестьяне опасаются выгонять не пастбище скотину, так как в этот праздник «Илья отдыхает»; пользуясь его бездействием, нечистые духи, вселясь в зверей и гадов, мстят людям за обычное своё бессилие; выходят из своих нор и бродят по лесам и лугам, терзая и жала домашний скот, пока наглостью своею не выведут Илью из терпения и не заставят взяться за гром, единственно страшную им угрозу. Боязнь дьявольского оборотничества настолько велика, что многие в этот день не решаются держать в избе даже собак и кошек: неравно и в них укроется нечистая сила и

навлечёт на дом стрелу грозного Ильи! Левитов поэтически передаёт рассказ, как во время грозы прасол подобрал барашка, взял его в телегу, спрятал под армяк, молнии, точно живые, стали виться около телеги, а барашек всё теснее жмётся-жмётся к своему избавителю и, наконец, в тоскливом страхе, вдруг говорит человеческим голосом: «Дяденька, а, дяденька! пусти-ка меня к себе в рот!». Прасол, в ужасе, столкнул барашка с телеги, и в ту же минуту его разбило громом в кучу золы. Знахари, по преданиям русского чернокнижия, собирают на Ильин день змей, чтобы топить из них сало на чудодейственные волшебные свечи. Другое обычное воплощение демона-оборотня на земле – волк. Замечательно, что Илье-пророку приписывается так же, как и Егорию Храброму, роль «волчьего пастыря». Он выгоняет зверя из логовищ; поселяне уверены, что волки выходят из своих нор после покосов; а до тех пор будто, никто не может открыть «волчьих выходов». Старинные охотники выезжали в Ильин день в поле травить волков. У них была примета: если они затравят тогда зверя, то весь год будут удачливы.

В самых православных поучениях церковных иногда попадаются образы, относящие к Илье-пророку понятие огненосца более материальное, чем то приличествует христианству святому. Народ же, как известно, крепко стоит ещё и в наши дни на том, что «Илья-пророк разъезжает по небу на огненной колеснице», «Илья грозы держит», «Илья словом дождь держит и низводит», «Вознесенье с дождём, Илья с грозой», «На Ильин день где-нибудь от грозы загорается», «Ильинская пятница без дождя – пожаров много» и т. д. Один из моих друзей уверял меня, что видел, если не ошибаюсь, в Ростове, – к сожалению, разговор был давно, и я не поручусь за точность места, – образ Ильи-пророка, на огненной колеснице, в пламенных ризах, с ярко красными волосами и бородою и с молотом в руках. Если это – правда, то мы имеем разительнейший пример перелива языческого образа в христианский: все перечисленные принадлежности – неперменные атрибуты бога-громовника славяно-германской мифологии, включительно до молота Mjölñir'a скандинавского Тора рыжебородого. В одном из вариантов вышеприведённой галицийской легенды Бог, чтобы избавиться от бесчисленно расплодившихся чертей, берёт в руки молот и, ударяя по камню, высекает из него, в виде искр, тьмы того небесного воинства, которое поражает нечистых. В осетинском предании падучая звезда и крест имеют одинаковое название. Илья-пророк бросает в шайтана пламенными крестами и опаляет его. Но ещё вопрос, всегда ли крест, побеждающий демона, обозначает в мифологии народный крест христианский, а не первобытный громовой молот, которого форма в каменном веке, когда слагались стихийные культы и мифы, была крестообразная: увесистый булыжник, обтёсанный к одной стороне тоньше, к другой, к обуху, толще и продырявленный по середине, чтобы можно было глубоко насадить его на круглое древко. Громовник финнов Укко машет огненным молотом, знаменитый Mjölñir Тора имеет чудесное свойство – поразив жертву, вновь возвратиться в руки бога, его метнувшего; ту же способность приписывают, в некоторых местностях Германии и славянского Запада, молнии – «круглым пулям из огненного камня», которыми, в летних грозах, охотятся за нечистой силою Господь Бог, ангелы, пророк Илья или ап. Пётр, являющийся в мифологическом творчестве, весьма часто, также с атрибутами громодержца.

Трудно в статье мифологического содержания упомянуть слово «охота» без того, чтобы не вспомнить о «дикой охоте» – этом дивном образе ночной грозы, созданном фантазией средневекового германца, зачавшей его в гуле и мраке вековых дубовых лесов. Представления грозы, как охоты, сопровождаемой быстрым, неудержным движением, сохраняет и образ Ильи-пророка, мечущего стрелы или пули в демонов, одетых в личины, волков, гадов или росомах, носясь на грохочущей колеснице. Воинственные грозы эти, как замечал народ, имели, однако, дважды благодетельную силу: уничтожая зло, они сеяли благо; гоня демона засухи огненными стрелами, они, в то же время, низводили на землю влагу небесного океана и оплодотворили почву. Полный мифологический образ этого представления мы находим, весьма цельно и сжато высказанным, в одном из заговоров старинного русского волхвования. «На море – на окяне,

на острове на Буяне гонит Илья-пророк в колеснице гром с великим дождём». Кто держит в руках своих гром и бурю, тот, вместе с тем, является и властелином-распорядителем плодородия. «Пророк Илья лето кончает, жито зажинает», «первый сноп на Ильин день», «Илья-пророк копны считает», говорят великорусские приметы, с которыми согласуется и ласкательное наименование праздника 20-го июля – «Илья – наделаша», т. е. наделяющий хлебом. Жатвенная страда вся стоит под покровительством св. Ильи, заменяющего в данном случае того таинственного житного деда, кому славяно-германские земледельцы посвящали последний дожиночный сноп, что сохранилось и сейчас в бессознательно-языческом обряде дожинок, знакомом даже тем, кто отродясь не бывал в деревне – хотя бы по опере «Евгений Онегин». Искони считается недоброю приметой, снимая для себя плоды земные, – хлеб с поля, яблоки из сада, зерно с гумна, – обобрать их наголо, до последнего. Чтобы и на следующий год урожай был не хуже, находят полезным суеверно оставлять на полосе несколько не сжатых колосьев, в саду несколько не сорванных яблок и т. п. Этот обычай – не что иное, как утратившее смысл культурное переживание старинной жертвы житному духу, приносимой ему от его же даров, чтобы и он мог сделать запас корма себе на зимовку. Обычай известен и в великорусских губерниях, причём оставить такой жертвенный клоч жнивья, на языке народном, определяется характерным термином «завязать Илье бороду». Духи житные и духи грозы – во всех мифологиях, родные братья, – вернее, даже, две стороны одной и той же медали, два видоизменения одного и того же мифа. Страшный молниеносец-громовник – он же и кроткий оплодотворитель. Народ верит, что под Новый год Илья-пророк незримо ходит по земле с «пугой житяною»: где пугой махнёт, там жито растёт. То же самое приписывается ап. Петру, чьё мифологическое значение близко к пророку Илье: «Пётр с колоском, а Илья с колобком». Оба они держат ключи от неба, – не в духовном, переносном смысле, как принимает религия христианская, но в прямом, стихийном. Сербские и болгарские духовные стихи, изображая св. Илью гневным на людские прегрешения, влагают в уста его такие слова, обращённые к «Огняной Марии», т. е. к Божией Матери, воображаемой божеством – молнией, и к самому Христу-Спасителю: «Дай мне ключи от неба, я запру туманы и облака; пусть три года не падает дождь, три года не греет солнце, три года не дует ветер, три года не родятся ни вино, ни жито!»

Как образ грозный, карающий и в то же время властный над плодородием, Илья-пророк в иных легендах является в споре с кротким, мягким, справедливым патроном крестьянина-земледельца, св. Николаем-Чудотворцем. Популярнейшая – как поссорились между собою поп и мужик, и первый избрал своим покровителем Илью, а второй Николу. Поп намолил у Ильи на мужика всяких бед, но Никола, своевременными советами, успевал всё зло переменить в пользу своего молельника: например, поп вымолил, чтобы Илья выколотил мужикову ниву градом; Никола является мужику и советует как можно скорее продать ниву попу же, тот покупает с радостью, соображая, что, раз нива стала его, ей больше не грозит опасность, но, так как он не успел предупредить Илью о происшедшей перемене, то град истребляет хлеб на купленной полосе. Это – старинный спор сурового грома с ласковым солнцем в доисторической стихийной мифологии. Чеченцы – полуязычники, полумусульмане – рассказывают его в такой форме. У одной вдовы был маленький сын. Однажды он говорит матери: «Мама! я пойду к Богу и попрошу у Него чего-нибудь, мы бедны и у нас многого недостаёт». – «Сын мой, – говорит мать, – ты такой оборванный; приближённые Бога не допустят тебя до Него». Сын снова говорит: «Нет, мама, я надеюсь добраться до Бога, – пойду попытаю счастья». Но ангелы и приближённые, увидев оборванную одежду мальчика, не допустили его к Богу. Мальчик печальный возвращался домой. По дороге встретился он с сыном Бога, – Елтою. – «Куда ты идёшь? – спрашивает Елта, – и отчего так печален?» – Мальчик рассказал Елте о своей неудачной попытке проникнуть в жилище Бога. – «Отец мой управляет целым миром!» – воскликнул Елта, – «неужели я не могу управлять одним мальчиком? Я беру тебя под своё покровительство: проси у меня, чего ты хочешь». Мальчик отвечал: «Я хочу посеять пшеницу и прошу

урожая». – «Пусть будет урожай на твоей пашне. Иди и сей», – сказал Елта и пошёл дальше. Мальчик с матерью посеяли пшеницу. К великой радости, у них был такой хороший урожай, какого не было ни у кого из соседей: на одном стебле выросло по два колоса. Когда хлеба стали созревать, Бог послал своих ангелов посмотреть урожай. Ангелы, осмотрев все пашни, донесли Богу, что на пашне мальчика, которого они не допустили к Нему, урожай лучше, чем у всех остальных людей. Услышав ответ ангелов, Бог воскликнул: «Как мог явиться у мальчика урожай без моего повеления! Наведите на его пашню гром и грозу, пусть они погубят хлеб его!» Ангелы передали приказание Бога матери грома и грозы, чтобы она послала своих детей для истребления пашни мальчика. Когда Елта узнал о приказании отца, то послал сказать мальчику, чтобы он с матерью поспешили убрать хлеб свой.

Они дружно принялись за работу и, когда убирали уже последний сноп, пошёл сильный дождь с грозой и градом и истребил все хлеба на соседних полях. Бог посылает своих ангелов осмотреть хлеба. Когда возвратившиеся ангелы донесли Ему, что у всех жителей хлеба истреблены, а у мальчика целы, Бог сильно разгневался за невыполнение Его воли и приказал позвать мать ветров. Когда она явилась, Бог сказал ей: «Подними бурю и разнеси хлеб мальчика!» Елта же послал сказать мальчику, чтобы тот перенёс весь свой хлеб на гумно и прикрыл его хорошенько. Лишь только мальчик с матерью окончили укладку хлеба, поднялась страшная буря и стала разносить клочками по воздуху весь хлеб соседей, а хлеб мальчика, прикрытый камнями, остался цел. Ангелы, посланные Богом, чтобы узнать о действии бури, в третий раз донесли Ему, что буря разнесла и погубила все хлеба у жителей, а хлеб мальчика остался невредим. Тогда Бог велел, чтобы у всех жителей с каждого тока получалось только по одной мерке хлеба. Елта, узнав об этом, предупредил мальчика, чтобы он обмолачивал свой хлеб не сразу, а по одному снопу. Мальчик поступил по указанию Елты и от каждого снопа получил по мерке пшеницы, между тем, как у соседей почти ничего не было. У мальчика уродилось столько хлеба, что он раздал очень много своим соседям, наиболее пострадавшим от неурожая. Когда Бог узнал, что и четвёртое Его приказание не достигло своей цели, то страшно прогневался и приказал позвать к себе Елту и мальчика. Когда они явились, Бог грозно обратился к мальчику: «почему у тебя вышел хороший хлеб, в то время, как у остальных жителей плохой, и кто помогал тебе в этом?» – Мальчик подробно рассказал об всем. – «Как ты смел идти против моих желаний?» – грозно обратился Бог к Елте. – «Тебе следовало бы за твоё послушание выколоть глаз!» При этих словах Бог так сильно ткнул пальцем в глаз Елты, что он выскочил вон, и с тех пор Елта остался одноглазым. Любопытно, что, в противоположность первенствующему по имени, но менее могущественному фактически богу грома, солнечное божество и у кавказских инородцев, как в скандинавской мифологии, является одноглазым.

Низводитель на землю небесных потоков чувствуется, как целебная сила, в самой влаге, видимо им низвергаемой: Ильинским дождём умываются, окачиваются от призора и болезней. Но чувствуют его и у земных источников – в особенности же у тех «источников на высотах», против обоготворения которых так энергично боролся Илья-пророк при жизни своей. О горных и вообще не в болотистой, а в каменистой почве бьющих источниках существует в народе убеждение, что они явились из недр земных, выбитые ударом молнии. Вероятно, каждый из читателей, – если детство его протекало в уездной или деревенской глуши, – припомнит в своей местности какой-нибудь «гремачий», «громовой», «святой» ключ или колодезь, а то и прямо «Ильинский», «Ильин», «Ильину Криницу» и т. п. В степной Екатеринославской губернии одно село имело обыкновение справлять на Илью крестный ход к местному колодезю, сопровождая его языческими суевериями. Вновь назначенный в село священник воспротивился стародавнему обычаю. Случилось так, что в наступивший затем Ильин день гроза залила ливнем в степном овраге стадо овец, принадлежавшее священнику, а, верстах в пяти от села, молния, обрушив глыбу земли с обрыва, действительно, открыла выход подземному ключу. Источник этот – «Ильина Криница» слывёт в народе богоданным, а священнику пришлось перевестись

в другой уезд, – так обострилась нелюбовь к нему населения. О мытищенских ключах, снабжающих водою Москву, тоже рассказывают, будто они потекли от громового удара. Огненные стрелы, копыта коней в колеснице Ильи-пророка или богатырского коня Ильи-Муромца, одноимённого ветхозаветному святому и тоже признаваемого святым, – обычные, по воззрению народному, создатели гремющих источников. Миф древний, как мир: достаточно вспомнить Кастальский ключ, брызнувший из-под копыт Пегаса, когда помчал он в высь небес Белле-рофонта, этого типичнейшего из громовников эллинизма. Ещё большим почётом пользуются те из громовых источников, которые текут из-под корней какого-нибудь дерева, напр., матёрого дуба. Быть может, Афанасьев прав, когда видит в народном почитании такого соединения живой влаги с пышной древесною растительностью отголосок старинных доисторических представлений о «мировом дереве», – напр., о скандинавском ясене Игдрозиле, с источником Норн, – перешедших, видоизменённо, и в христианские апокрифы. В одной рукописи XVI века читаем: «А посреди рая древо животное, еже есть божество, и приближается верх того древа до небес... А от корня его текут млеком и мёдом двенадцать источников». Ильин дуб, Петров дуб – частые названия в русском народе замечательных по величине и древности экземпляров этого дерева, во всех племенах и во все века язычества, посвящённого богу грома. Когда Илью-Муромца иные мифологи, как Афанасьев и Орест Миллер, стараются представить воплощением громовника во всей последовательности его подвигов, это, конечно, – преувеличение учёной фантазии, готовой, в интересах своей теории, на какие угодно натяжки; но метание богатырём этим стрел калёных в дубы, обитаемые демоническими существами, вроде Соловья-Разбойника, – несомненно, черта громовническая, сильно напоминающая стрелы, рассыпаемые тёзкою богатыря св. Ильёю-пророком по нечистой силе, бегущей от него в леса и дебри. Что касается Петровых дубов, то их, обыкновенно, связывают с именем Петра Великого: «вот-де этот дуб старинный, его сам царь Пётр посадил», хотя весьма часто попадаются они в местностях, где Пётр никогда не бывал, и почти всегда подобный дуб оказывается в действительности старше Петра I на многие века. Дело в том, что историческая память Петра Великого вытеснила из фантазии народной первоначальное посвящение дубравных великанов ап. Петру, «небесному ключарю», разделившему с Ильёю-пророком в христианстве языческое наследие громового культа. К таким дубам посылают знахари боляющих зубами – грызть кору и дресву святого дерева. При многих монастырях русских можно видеть дубы, искусанные и даже обглоданные паломниками; в родстве с этим обычаем грызть дубовые колоды, служившие гробами св. угодникам, напр., в Сергиевой Троицкой лавре, а также знахарский совет – коли зубы болят, выкури из дубовой трубки пригоршню дубового моха, и всё пройдёт, только во рту горько дня на три будет. Характерно, что зубную боль народ поставил под прямое покровительство св. Пантелеймона – целителя вообще, но зубных страданий по преимуществу: св. Пантелеймон, по южному произношению, Палей или Палий также из святых громовников. Сербь думают, что Илья заведует громом, Огняна Мария – молниями, а св. Пантелеймон – бурями. Дни, посвящённые этим святым, все приходятся на числа между 20 и 28 числами июля.

Великорусский крестьянин кончает Ильиным днём лето и зачинает осень. «На Илью до обеда лето, после обеда осень», говорит пословица. С этого праздника заборонивают пар и перестают купаться, считая, что вода холодеет. «С Ильина дня работнику две угоды: ночь длинна, да вода холодна». Связь охлаждения земных вод с ильинскою грозой и дождями выражается весьма наивным представлением, уже одною первобытною своею, ясно указывающею на древнее стихийное верование, предполагавшее дождь мочою громовника. Охлаждение воды таким способом приписывается или самому Илье, или оленю, еленю, – по созвучию с Ильёю, – или же, наконец, медведю, что опять уносит наше воображение в тёмные области стихийной доисторической веры, ибо медведь был «Перуновым зверем» и одним из любимых воплощений громовника. Может быть, не лишнее вспомнить тут и тех оленей, что посылал Илья-пророк из лесов мирянам для заклятия на его жертвенных пиршествах.

Стихийная теория имеет пред всеми другими в мифологии преимущество эластичности: при некотором усилии, под её положения можно подогнать решительно какой угодно факт бытовой и исторической жизни. Брался же кто-то доказать, что Наполеон – не действительный герой нашего века, но солнечное божество, окружённое 12 маршалами, т. е. двенадцатью месяцами. Поэтому, ничуть не стоя за гипотезу, о которой сейчас будет речь, я считаю долгом лишь упомянуть о ней. Одна из частных метафор дождя в древних мифологиях – амрита индусов и нектар эллинов, вино и мёд – скандинавов, германцев и славян. Нет ничего невероятного, если и, в качестве своём покровителя медового и воскового промысла, Илья-пророк является преемником древних громовников. Но я лично больше склонен думать, что поговорки народные – вроде «богат, как ильинский сот», равно как приметы, учащие на Ильин день подрезывать соты, подчищать ульи, перегонять пчёл, вызваны просто тем обстоятельством, что в эту пору соты окончательно поспевают, добыча («взятка») пчелы начинает умаляться, – «ильинский рой не в корысть!» говорит пословица пчелинцев, – а первый осенний праздник, да ещё как мы видели, справляемый всем обществом, давал предлог обробовать новые мёды. Такие же хозяйственные, ничего общего не имеющие с небесными медами, пословицы – «до Ильина дня сено сметать – пуд мёду в него накласть», «до Ильина дня в сене пуд мёду, а после Ильина – пуд навозу» и т. п. Резкий поворот лета на осень, приуроченный к празднику, отмечен в народном календаре множеством подробностей. С Ильина дня «и камень прозябает» – по первым утренникам; «до Ильина дня тучи по ветру идут, а после Ильина против ветру»; «до Ильи поп дождя не умолит, – после Ильи баба фартуком нагонит»; «до Ильина дня и под кустом сушит, после Ильина дня и на кусте не сохнет» и т. д. Ясно по здравому смыслу, что изречения эти – плоды отнюдь не суеверия, но просто естественного наблюдения за годовым кругом. Лишь одна из примет, говорящая о нагоне дождя бабьим фартуком, содержит намёк на колдовской способ «накликать дождь», махая одеждою, упоминаемый не только во многих дедовских процессах, но и в рассказе князя Андрея Михайловича Курбского о взятии Казани. Но шуточный тон приметы указывает, что она создалась в весьма позднее время, когда в колдовство уже перестали верить, дерзали над ним трунить и подсмеиваться, как над бессильною небывальщиной. Верование стихийной религии, христианское суеверие и культурное переживание, бессознательное и незамечаемое, или же исполняемое с окраскою насмешливого скептицизма, – таковы три исторически последовательных фазиса в жизни каждого мифического образа и представления. Пережив их все три, поверье исчезает, и память о нём стирается с лица земного. Ильинские поверья – ещё в третьем фазисе: над ними иной раз трунят, но с ними считаются.

Иван Купало

Школ мифологических много. Но, несмотря на принципиальную разность своих опорных точек, едва ли не все они сходятся в мнении, что народный русский праздник Ивана Купалы, справляемый нашим отечеством повсеместно, «от финских хладных скал до пламенной Колхиды», 23-го июня, в канун церковного праздника Рождества Иоанна Крестителя, представляет всю совокупностью своих обычаев и обрядов «культурное переживание» древле-языческого торжества в честь летнего солнцестояния, то есть середины лета, самых долгих и тёплых дней в году и затем поворота солнца на осень. Так как праздник таинственной ночи 23–24 июня существует у всех народов арийского происхождения, а отчасти и у семитов, то сказанное вековое значение Купалы легко выясняется, даже помимо исторических указаний и мифологических соображений, простым сравнением названий торжества, в разных землях, у разных племён. Здесь достаточно будет привести самое типическое из них, шведское: *midsomer*, – буквально, середина лета. Вадим Пассек делал попытку перевести подобным же образом и наше русское наименование Купалы. Слово *копа*, говорит он, обозначает в иных случаях половину; по-малороссийски *копа* – полтина, т. е. половина рубля, *коповик* – полтинник; а от *копы* до Купала переход близкий. Филологическая натяжка эта – не без остроумия и, во всяком случае не более невероятна, чем другие, с которыми придётся мне познакомить читателя ниже.

Излишне распространяться о тесной связи арийских религий с годовым кругом солнца: она общеизвестна. Календарь арийского язычества – полная история солнечного года. Древний Рим чествовал рождение солнца, смерть его, воскресение, оба годовые равноденствия, – и зимнее, и летнее. Около 273 г. император Аврелиан специальным эдиктом узаконил старинный праздник зимнего солнцестояния, совершавшийся 25-го декабря (VIII Kal. jan.) в связи с чествованием Мифры, под именем *Dies Natalis Solis invicti*, Рождество непобедимого Солнца. Шесть месяцев спустя, 23-го июня, европейский мир, целиком укладывавшийся тогда в пределы Римской империи, торжествовал день полной возмужалости солнца, так сказать, его совершеннолетие. Реформируя языческий календарь, победоносная христианская церковь сочла полезным удержать оба дня в своём обиходе. Свершилось это заимствование в IV веке, в лоне западной церкви, – без всякого, сколько-нибудь достоверного исторического основания, зато с полною символическою последовательностью. Торжество рождения зримого солнца, с которого начинали расти дни и сокращаться ночи заменилось Рождеством Солнца Правды, причём католический тропарь праздника сохранил даже древнюю метафору о новом солнце: *Sol novus oritur!* Торжество летнего равноденствия, с которого начинали сокращаться дни и расти ночи, было посвящено Иоанну Крестителю, в силу буквального смысла его собственных слов в евангельском тексте: «Ему расти, а мне умяться». (Э. Б. Тейлор, «Первобытная культура»). В сообщённой Ф. И. Буслаевым повести XVII века «О девицах смоленских, како игры творили» мы находим описание купальского праздника в высшей степени любопытное по наивному смешению языческого элемента с христианским. «Было от города Смоленска за 30 вёрст по Черниговской дороге – случилось быть на великом поле бесстыдному беснованию. Множество дев и жён стеклись на бесовское сборище, нелепое и скверное, в ночь, в которую родился Пресветлое Солнце – великий Иоанн Креститель, первый покаянию проповедник, его же ради вся тварь неизречённо возрадовалась. А эти окаянные бесом научены были». Автор повести простодушно не заметил, как, восставая на обряд идольский, он целиком взял именно из обряда этого эпитет «пресветлого солнца», составляющий главную суть языческого праздника, и – ничтоже сумняшеся – приложил к христианскому святому.

Чтобы свободнее распорядиться с мифологическим материалом, имеющимся по вопросу о Купале, я сперва устранию из него легенды и предания христианского происхождения, как не основные, но лишь применённые к первоначальному мифу, позднее наносные.

Прежде всего, к христианскому влиянию, конечно, относится присоединение к «Купалу» имени «Иван», неразрывно с ним во всех русских краях связанного; останавливаться на этом имени опять-таки нечего, ибо его достаточно уясняет соседство солнечного праздника с рождеством Крестителя. В Малороссии набожные люди уверяют, что Купалу празднуют в память Иродиады, – как она усекла главу Иоанна Крестителя, бросила её в воду и пела:

Купала на Ивана!
Купався Иван,
Та в воду упав!
Купала на Ивана!

Иродиаду зовут они злою черепицею, а празднующих Купалу её последователями и угодниками. Толкователи-эвгемеристы, в стремлениях подыскать мифу непременно историческое объяснение, желали видеть в водных и огненных обрядах Ивановой ночи воспоминание о крушении язычества на Руси, когда пали кумиры, и Владимир велел иные разбить, иные передать огню, а Перуна и в Киеве, и в Новгороде бросил в воду. Пассек, в увлечении такую теориею, ставит даже гипотезу: не есть ли несчастная Ганна, о ком уныло поют некоторые малороссийские купальные песни, Ганна, «приехавшая из-за Дуная», – Анна, жена князя Владимира, греческая царевна, свидетельница разрушения идолопоклонства и введения христианской религии? Привожу эту ссылку, разумеется, лишь как курьёз. С помощью эвгемерической теории, в области народных мифов можно доказать какие угодно фантастические сближения, указания и намёки. Отчего, например, не утверждать, даже и такую нелепость, что 23-е июня празднуется народом в память Агриппины Младшей, матери Нерона? Как ни дико, а доказать возможно... День этот посвящён церковью памяти св. Агриппины: сближение имён. В простонародье день св. Агриппины слышён под названием Аграфены-Купальницы: не ясный ли этот намёк на знаменитое покушение против Агриппины, когда Нерон хотел утопить свою родительницу в Неаполитанском заливе, но только выкупал? И, если мы вспомним, что в купальские обряды входит обыкновение топить в реке женскую куклу, то эвгемерическая аллегория готова! Как дважды два четыре доказано, что Аграфена-Купальница была римская императрица, популярность которой достигла, даже через восемнадцать веков, до полтавских хохлов и заставила их ежегодно оплакивать трагическую судьбу её. А затем, – поглядим с читателем друг другу в глаза и рассмеёмся, как авгуры!

Отрицая эвгемерические преувеличения, тем не менее нельзя не признать, что некоторый намёк на христианское крещение сохранился в суевериях Ивановой ночи. В Новгородской губернии купальский праздник называется Кокуем. Вероятно, название это имело когда-то большое распространение, так как и в Новгородской губернии, и в других местностях России и в Сибири разбросаны многочисленные селения и урочища, носящие имя Кокуя. Так как купальский костёр у финнов, также справляющих Иванову ночь, называется Кокко, то Снегирев выводил Кокуй из этого – финского речения. Откуда бы ни было заимствовано название, характерно, что в местном говоре тех же губерний, где оно распространено, например в Костромской, – кокай и кока обозначают крёстного отца и мать. Взаимодействие в воображении древнего славянина идей о Купале и о Крестителе, который «купал» во Иордане приходивших к нему покаянников, несомненно помогло празднику дойти из глубочайшей древности языческой через многие христианские века до нашего времени. Сосуд для обряда крещения, по-русски именуется купелью, т. е. в чём купают; а Евангелие зовёт купельями также пруды и целебные источники: Овчая купель, купель Силоманская. Креститель стал Купалой, по той же ассоциации идей, по той же многозначительной мифологической игре слов, по которой русский мужик начинает сеять хлеб на Бориса и Глеба (2 мая), собирает мак на Макаеве (1 августа) и не работает в день обновления Цареграда (11 мая) из опасения чтобы царь-град, за

непочтение к его празднику, не выбил посеянного на полях хлеба. Такие сближения испытывает не один наш, но и католический календарь. Запад считает патроном стрелков св. Себастиана, потому что он был расстрелян стрелами, св. Вита – целителем сумасшествия и нервной болезни, носящей его имя, и чтит св. Фиакра, чьё имя, с XVII века, носят извозчики экипажи, поставленные под его покровительство. Что касается до исторических указаний и легенд о столкновении, якобы, христианства с культом Купалы, то, в огромном большинстве, они – позднейшего происхождения и должны быть отнесены к разряду тех мифов, которые Тейлор называет философскими, то есть созданных искусственно, по гадательному предположению, с целью объяснить имя, поверье, событие, что за давностью времени или по скудости сведений о них, утратили значение, обесмыслились. В Переяславле Залесском есть древняя икона Владимирской Божией Матери, слыvuщая в народе Купальницею. Легенда объясняет это название нижеследующим мифом искусственного книжного происхождения. В Переяславле народ поклоняется, будто бы, идолу Купалу. Когда Владимир внёс христианскую веру, переяславцы хотели всё-таки продолжать своё языческое поклонение. Но Владимир прислал к ним икону Пресвятой Богородицы и тем удалил их от кумира. Потому и празднуют ей накануне того дня, как праздновали Купалу.

Расставшись с христианскими наслоениями и воздействиями на праздник Купалы, мы погружаемся, так сказать, в пучину неизвестности, неопределённых догадок и предположений. Мы не можем даже утверждать с полною достоверностью, какой смысл, в точности, содержит в себе самое имя Купалы. Одни считают Купалу забытым божеством, другие – парюю божеств, третьи – прозвищем божества, четвёртые – его идолом, пятые – именем праздника и т. д. «Купало», гласит Густинская летопись, «яко же мною, бяше богъ обилия якоже у еллинъ Цересь, ему же безумными за обилие благодареніе приношаху въ то время, егда имяше настати жатва. Сему Купалу-бѣсу еще и до нынѣ в нѣкоихъ странахъ безумнии память совершаютъ». Построенное на тексте этом предположение Карамзина, что Купало был у предков наших самостоятельным членом их тёмного Олимпа – «богом земных плодов», в настоящее время отвергнуто. Ф. И. Буслаев филологическим путём достиг вывода, что Купало есть то же самое вакхическое божество солнечного света, тепла, урожая, плотской любви, которое предки наши чествовали под именем Ярилы, чей яркий, роскошный культ так красиво передал А. Н. Островский в прелестной своей «Снегурочке». Буслаев производит Купалу не от глагола купать, как делают Н. И. Костомаров, Воцель и вслед за ними новейший исследователь старорусских солнечных мифов, М. Е. Соколов, но непосредственно от корня куп, совмещающего в себе те же понятия, что и корни яр и буй. Во-первых, говорит он, куп имеет значение белого, ярого, а также буйного, в смысле роскошно-растущего, откуда в нашем языке употребительны: купавый – белый, купава – белый цветок, купапка – цветочная почка; отсюда же кипеть, кипень – в значении белой накипи и вообще белизны: бел, как кипень. Во-вторых, в санскрите kup – блистать, яриться, гневаться, горячиться, страстно желать, похотеть, откуда латинское cupio. В соображении всех этих данных, а также летописных сказаний о сладострастном характере игрищ купальских, однородных с ярилиными, можно не без основательности предположить в Купале второе прозвище Ярилы; последний же тоже, сам по себе, не бог, но лишь ласкательное, шутовское имя божества. Приведу кстати и другие филологические объяснения Купалы. Выводят слово это от польского купа, а русского – копна, куча хвороста, зажигаемого в ночь на 24 июня. Выводят от копанья кореньев и кладов. Выводят от индийского Купала, что значит покаянник, и даже от греко-финикийской Кибелы, матери богов. На меня лично, признаюсь, все эти выводы производят впечатление натяжек, в роде той, что в известном анекдоте помогла профессору сравнительного языковедения произвести немецкую лисицу Fuchs от греческой alorex. Отбрось а, говорит он, останется юрех, отбрось l – останется орех, отбрось o – будет – рех... Рех-рѣх-рах-рох-рих и очень просто получается Fuchs! Костомаровское мнение, – Купало, потому что купает или сам купается, – в немудрствующей лукаво простоте своей

кажется, по здравому смыслу, много ближе к истине. У вотяков купал значит праздник: тулш – купал, кереметь – купал и т. п. Даль предполагает, что вотяки сошлись в этом слове лишь случайным созвучием, но вернее будет предположить, что вотяцкий руссизм заимствован дикарями при колонизации края и представляет собою перенос представления об одном русском празднике, наиболее поразившим воображение туземцев, на все праздники вообще.

Прозвище ли божества, название ли праздника, Купало, – в сущности говоря, вопрос интересный лишь науке для науки: поэтому я в рассмотрение его входить не буду. Для нас важно рассмотреть остатки древнего стихийного культа, сгруппированные около этого солнечного праздника, а отнюдь не утраченный из памяти людской внешний импульс к нему. Остатками сказанного культа являются в Иванову ночь – обычай купальских огней, искание кладов и целебных трав, вера в возможность близкого общения со злыми духами и умершими, обряд купанья в росе или в ручьях лесных и речках и в некоторых местностях заключительный аккорд торжества: обыкновение топить идола Купалы, именуемого также где Мареною, а где Кукушкою. Последнее название вторично сближает Купалу с Кукуем, а, следовательно, и с идеей крещения. Быть может, не лишнее при этом и обряд крещения кукушки, справляемый во многих местностях как великорусских и малорусских, так и в других землях во время майских русалий в семик. В Румынии праздник Кукушек чествуется, приблизительно, около Купалина дня. Девушки уединяются в рощи и проводят там время до глубокой ночи в беседе с кукушками, поют им песни, состоящие большею частью из разных вопросов, и по ответам вещей крылатых гадают о будущем. По свидетельству старинной польской хроники Прокоша, в кукушке чествовалась богиня Жива, т. е. дающая жизнь, почему голос её и по сие время принимается народным поверьем за предвещание стольких лет жизни, сколько раз крикнет птица. «Думали, что высочайший владыка вселенной превращался в кукушку и сам предвещал продолжение жизни; поэтому убиение кукушки вменялось в преступление и преследовалось от правительства уголовным наказанием». Воплощение солнечного божества в кукушку знакомо не одним славянам: о нём говорят и Гесиод и Гомер; Зевс превратился в кукушку, чтобы обольстить Геру. По всей вероятности, посвящение кукушки верховному божеству, т. е. солнцу, было сделано инстинктом народным по той примете, что птица эта кричит с ранней весны, т. е. с первой победы солнца над зимою, до равноденствия, т. е. до возмужалости солнца, – следовательно, в самый блистательный период его деятельности, – и перестаёт кричать, когда солнце совершив перевал через середину лета, склоняется на осеннюю убыль. «Не кукуется кукушке за Петров день!» А другая народная примета говорит, что «кукушка ржаным колосом давится», т. е. перестаёт петь, когда выколосится и зацветёт рожь, что в нашей великорусской полосе приходится на последние числа мая или, при позднем тепле, на начало июня. Чтобы покончить с кукуем и кукушками, отмечу ещё и следующее. По «Толковому Словарю» Даля, прямое значение слова кокуй – кокошник: народный головной убор русских женщин, в виде опахала или округлого щита вокруг головы; это лёгонький веер из толстой бумаги, пришитый к шапочке или волоснику. «Вот тебе кокуй, с ним и ликуй!» говорят новобрачной молодухе. Нет ничего невероятного, что в седой старине кокуй был не постоянным, но обрядовым, праздничным головным убором Купалиной ночи, подобно тому, как хохлушки, на этот случай, наряжаются и сейчас ещё в огромные венки, закрывающие лицо почти до половины. Полукруглый, лучеобразный кокуй мог надеваться в честь празднуемого солнца, которое, кстати, и само, по русскому поверью, рассказанному Сахаровым, в день Ивана Купалы выезжает на небо в колеснице, запряжённой серебряным, золотым и алмазным конями, одетое в праздничный сарафан и кокошник. Не противоречит такому предположению и вышеприведённая пословица – формула обращения к новобрачным. День Купалы, как и все весенние и летние праздники, день любовного парования, – один из тех, когда, по негодованию летописцев, безбрачные славяне «собирались на игры у водных источников, между сел; тут они играли, плясали, занимались вообще бесовскими потехами и отсюда уводили себе в жёны – с какою кто сладился». Шекс-

пир в «Сне в летнюю ночь» и Островский в «Снегурочке» поэтизировали этот вольный брак доисторической Европы. Покрытие уже головы почти у всех народов обозначало приглашение к браку и плотскому общению, чтобы, затем, отличать женщину от девственницы, начиная ещё от жриц Астарты и библейской Фамари.

Основываясь на том, что в поверьях народных и песнях Купальских имя Купалы встречается и в мужской, и в женской форме, всё равно, как сказки изображают нам солнце то мужчиною, то женщиною, то царевичем, то царевною, – иные мифологи советуют разделять купальское торжество на два празднества или, вернее сказать, на два момента в одном празднестве. Первый посвящён женскому божеству – Купале, в христианстве слившемуся с Аграфеной Купальницею и чествованием Владимирской Иконы Божией Матери, второй – Купалу, в христианстве соединённому с Иоанном Предтечею. При этом, оба имени признаются за несобственные имена, т. е. за эпитеты весны и солнца, заимствованные из обычая купания в реках, источниках и росах. По-сербски, купало прямо значит купальня. Что купанье было заключительным обрядом ритуала Ивановой ночи, свидетельствует среди десятков указаний, между прочим, и Стоглав: «И егда мимо ночь ходить, тогда отходятъ къ рѣкѣ съ великимъ кричаніемъ, аки бѣсни и умываются водою». Обычай мыться купальскою росой распространён и за пределы славянского мира. Вот как проходит Иванова ночь в Италии, близ Генуи: накануне дети и девушки собирают дрова и, сложивши их у церкви, зажигают костры, пекут лук и едят его, для предохранения себя на целый год от лихорадки, поют и пляшут. А на рассвете в самый Иванов день, раздевшись, катаются по росе, для излечения некоторых болезней, и потом идут собирать целебные цветы, травы и какой-то цветок, с которым можно делать чудеса. То же самое, за исключением печёного лука, и в Дании, и в Бельгии, и в Англии. Если мы вспомним, что, по представлению дикаря, роса не поднимается паром из земли, но падает с неба, а небо в этот день в особенности свято, благодаря празднику солнца, то естественно верить тому же дикарю, что частица святой силы переливается и в нисходящую на землю росу, а через неё передаётся полевым цветам и травам. Древнерусские травники и лечебники рекомендуют ночь на Ивана-Купала лучшим временем для сбора целебных трав, цветов и корней; они только тогда-де и оказывают действительную помощь, когда будут сорваны в Иванову ночь, или на утренней заре Иванова дня – прежде чем обсохнет на них роса. Так что первоначальная чудотворность лекарственных зелий приписывается не им самим, но небесному, т. е. солнечному благословию в покрывающей их росе. По уклонении от такого представления, – когда ариец забыл и об «амрите» браманов, капающей с ветвей предвечного небесного дерева мифологии индусской, и о ручьях у корня небесного ясеня Игдразиля мифологии скандинавской, и о амвросии эллинской мифологии, и о живой и мёртвой воде славянских сказок – о всех этих символах животворящей и плодотворящей небесной влаги, – возникло суеверие, что чудеса творить не роса уже, но особые соки и силы, зреющие в растениях только в эту достопамятную ночь. Возникли сказания о таинственных цветах и травах, распускающихся и растущих лишь под чарами Купалы. Такова перелёт-трава, дарующая способность по произволу переноситься за тридевять земель в тридесятое царство; цвет её сияет радужными красками и ночью в полёте своём он кажется падучею звёздочкою. Таковы спрыг-трава, разрыв-трава, расковник сербов, Springwurzeln немцев, sferracavallo итальянцев, разбивающие самые крепкие замки и запоры. Такова плакун-трава, гроза ведьм, бесов, привидений, растущая на «обидящем месте», т. е. . . . – где была пролита неповинная кровь, и равносильные ей чертополох, прострел-трава и одолень-трава (белая купава, нимфея). Таков объединяющий в себе силы всех этих трав жар-цвет, огненный цвет, – цветок папоротника: самый популярный из мифов Ивановой ночи.

При всей осторожности, с какою надо принимать остроумные, но слишком односторонние изыскания главнейшего представителя стихийной школы в русской мифологической науке А. Н. Афанасьева, при всей заведомой слабости его сводить каждый миф, каждый обряд, каждую легенду к излюбленному им «перуническому» культу бога-громовника, нельзя не признать

его объяснение генерации сказочных цветов в фантазии народной весьма находчивым и правдоподобным. Поверье о цвете папоротника, по мнению Афанасьева, возникло из поэтической метафоры, которою предки наши изображали тучу – деревом, а молнию – цветом её. Записанная П. В. Киреевским сказка о Правде и Кривде заставляет чертёнка похваляться: «Я напустил семьдесят чертенят на одну царскую дочь; они сосут ей груди каждую ночь. А вылечит её тот, кто сорвёт жар-цвет! – Это такой цвет, который когда цветёт – море колыхается, а ночь бывает яснее дня; черти его боятся». Но – едва развернётся дивный цветок во всей своей красе, как тотчас же увядает; лепестки его осыпаются и бывают расхвачаны нечистыми духами. Если присоединить к этим подробностям суеверные описания разрыв-травы, разрушающей ворота замков, двери подземелий, твердыни скал, – нельзя не согласиться, что тогда из трёх приведённых отрывков слагается весьма подробно красивое поэтическое изображение громового удара, разрывающего тучи яркою молниею. Купальные травы дают человеку, умевшему ими овладеть, всевидение, способность быть невидимкою, прозирать клады в недрах земли, победоносно гнать от себя демонов и т. и. – всё те же качества, что приписываются грому и молнии. По немецкому поверью, золото в земле зарождается от громовых ударов. То же самое поверье Андрей Печерский (П. И. Мельников) записал на Ветлуге. У хорватов жар-цвет папоротника прямо называется Переново цветие, т. е. Громовый, Перунов цветок. Пассек приводит, с попытками к эвгемерическому объяснению, в высшей степени древнюю, несомненно мистическую песню, распеваемую под ночь Купалы в Малороссии.

Посию я рожу, поставлю сторожу,
 Стороною дощик иде, стороною
 ?(после каждого стиха).
 Не певна сторожа, выломана рожа.
 Выйшло на рожи три мисяца ясных,
 Три мисяца ясных, три молодца красных.
 ?(Следуют имена).
 Выйшло на рожи три зирочки ясных,
 Три зирочки ясных, три дивочки красных.
 ?(Следуют имена).
 Стороною дощик иде, стороною
 Над моею рожею червоною.

Что это за красная роза, под дождём, сломанная, неустережённая слабым караулом? роза, над которою сияют месяцы – парубки и звёзды – дивчата? Пассек относит песню к судьбам той Ганны, в которой видит он жену Владимира, но песня станет гораздо понятнее, если мы сблизим её с сербскими и червонорусскими сказками о громовой розе:

Красная роза горела,
 Под ней белая девка сидела,
 В решете воду носила,
 Красную розу гасила, –

то есть сеяла дождь и тем прекращала грозу... Сербь самый конец света связывают с существованием где-то в преисподней столитвенной розы. Корнями своими она связывает страшного зверя: живой огонь. Цвет розы таит в себе молнии и громы. Если бы кто сорвал цветок, страшная гроза, уничтожила бы землю и всё, что под нею и над нею. Уцелела бы одна роза, но прошло бы два века раньше, чем возле неё выросла новая земля и опять расплодилось людское племя. Эта громовая роза и жар-цвет купальской ночи – близкие родственники.

Искатели цветущих папоротников, конечно, и не воображают, что, в сущности, они ищут молнии, свалившейся на землю, под метафорой летающего, «парящего» цветка (папоротник – парить – перо имеют один корень, – таково, по крайней мере, мнение Шафарика). Если мы вспомним, что народ относится с глубоким суеверным почтением к так называемым «громовым стрелкам», дорожит ими, как священными, употребляет их, как лекарство против болезней и дурного глаза, – то пристрастие к, так сказать, окаменевшей, воплощённой в скипевшем песке молнии, объяснит нам, почему славянский дикарь и не считал невозможным, и жаждал захватить во власть свою молнию ещё в действии её, ещё в первой её материализации, «не в плоде, а в цвете». Многие инородцы считают громовые стрелки, действительно, стрелами, которыми верховное божество поражает демонов, т. е. приписывают им то же самое действие, как и молниеносному папоротному цветку. Гёте, редкий и проникновенный знаток народных поверий Германии, недаром в финале второй части «Фауста», заставил своего Мефистофеля корчиться под дождём пламенных роз, бросаемых на него ангельским хором.

Перунический элемент, врывающийся в солнечное празднество Купалы, в образе молниеносного цветка, увлék Афанасьева к предположению, что Купала был столько же праздником грома, сколько солнца. Костры и купанья Ивановой ночи он с страшною натяжкой пытается истолковать, как символ того, что «бог-громовник кипятит (см. выше буслаевскую лингвистику) в грозном пламени дождевую воду, купает в её ливнях небо и землю, и тем самым дарует последней силу плодородия». Отсюда является, будто бы, и двойственность праздника Купалы, с его мужским и женским началом. Купало и Купала, это – Перун-оплодотворитель (Ярило) и Лада, богиня просветлённого солнца и летних гроз, сходятся в супружескую чету и купаются в дождевых потоках, на небесной горе, причём первый потрясает землю громовыми ударами, а вторая растит травы на полях. Всё это Афанасьев выводит из белорусской песенки, которую поют у купальских костров:

Иван да Марья
 На горе купались;
 Где Иван купался,
 Берег колыхался;
 Где Марья купалась –
 Трава расстилалась!

Ни о Перуне, ни о Ладе, как читатель видит, здесь нет ни одного слова. Но так как предполагаемый Перун-Купало смешивается с Иваном Крестителем, а Богородица у сербов часто является в песнях под именем «огняной Марии», «молниеносной» и даже просто «молнии», то этого достаточно для главы русской стихийной школы, чтобы, подставив вместо Ивана и Марии Перуна и Ладу, получить вышеприведённую мифологическую формулу. М. Е. Соколов, с гораздо меньшими усилиями, склоняет читателя к мнению, что двойственность праздника обуславливается вовсе не вмешательством в него громового культа, но сочетание Купала-солнца с Купалою-богинею весны, тою самою Лялею или Ладью, которую Афанасьеву желательно выдать замуж непременно за Перуна. Так как брачное пиршество богов подаёт людям пример любиться и множиться, то купальские празднества отличались у древних славян ярким вакхическим колоритом, широким, безудержным разгулом. В Малороссии праздник Рождества Предтечи называется даже попросту Иваном Гулящим. Тайна любви богов дала новый оттенок мифу о жар-цвете.

Чарующею силою пурпурного цветка, сорванного в Иванову ночь, Оберон у Шекспира влюбляет Титанию в человека с ослиною головою; волшебный венок из купальских цветов, надетый матерью-Весною на голову Снегурочки, отдаёт «холодное мороза нарощенье» во власть страстно любящему её Мизгирию. Чары Купала – чары любви. «Гой еси ты государь

сатана! – читаем мы в любовном заговоре 1769 года; – пошли ко мнѣ на помощь рабу своему часть бѣсовъ и дьяволовъ... Купалолоака съ огнями горящими и съ пламенемъ палящимъ и съ ключами кипучими, и чтобъ они шли къ рабицѣ дѣвицѣ и зажигали-бъ они по моему молодецкому слову ея душу и тѣло и буйную голову и т. д.». Таинственный Купалолоака является здесь в полной обстановке Купальской ночи, из мрака которой старинный бог вынырнул уже в звании чѣрта: при палящих огнях, при кипучих ключах. Не особенно трудно предположить, что Купалолоака есть просто испорченное писцом сочетание двух слов Купала Лада.

?

В заповедном лесу
К рассвету дня сойдутся Берендеи.
Велим собрать, что есть в моём народе,
Девиц-невест и парней-женихов
И всех зараз союзом неразрывным
Соединим, лишь только солнце брызнет
Румяными лучами по зелёным
Верхам дерев. И пусть тогда сольются
В единый клич привет на встречу солнцу
И брачная торжественная песнь.

В такой форме подсказало А. Н. Островскому художественное чутьё – часто более проникновенное, чем самое старательное научное исследование – секрет Ярилина, а так как Купало и Ярило едва ли не одно и то же божество, под разными кличками, то читай и Купалина дня. Праздник брачующихся людей и богов: свадьба Плодотворителя-Солнца с Весною, то есть с расцветшею землёю, – Ладою, Лялею и под какими бы именами ещё она ни встречалась. Тогда и купанье их приобретает вполне ясный смысл, как и утреннее купанье лиц, отпраздновавших священную ночь на лесной гулянке. Это – та предсвадебная и послесвадебная баня, что до сих пор играет столь важную роль в простонародном русском свадебном обряде; у неё свой культ, свои песни, невесту ведут в неё торжественно, с причитаниями, – точь-в-точь, как сопровождают к реке чучело Купалы, Маревы, Русалки или Кукушки. Что обычаем свадебной бани приписывается народом и стихийным духам, прежним божествам своим, видно из поверья о леших. На переходе от весны к лету, в пору быстро набегающих, шумных, красивых гроз, бурных вихрей и наводнений, лесные и водяные духи справляют свои свадьбы, сопровождаемые буйным весельем. Разгулом нечистой силы на брачных пиршествах крестьяне объясняют несчастья от весенних циклонов; водяные ломают мельницы, лешие размётывают овины, клады, валят деревья. Если мужика, при ясном небе, обольёт сильный дождь из налетевшей «шальной» тучки, – что называется, дождь сквозь солнце, грибной дождик, – он склонен думать, что шёл мимо бани, где новобрачный леший парился со своею молодою женою и, рассердясь на прохожего, окатил его водою из шайки, с головы до ног.

То же художественное чутьё помогло Островскому резко отграничить в двойственном празднике Купалы, небесный элемент от земного, мужской от женского, Солнце от Весны-Красны. Купалин день – последний день царства Весны и первый день лета. Весна отбыла свой срок и умирает, а солнце, из плодотворящего супруга её Купала, вступает в новый фазис своего бытия, становится палящим, могучим Ярилою. Древние славяне хоронили Масляницу, Зиму, хоронили русалок, осенью, в знак убыли солнечного тепла и конца лета, хоронили мух, букашек и тараканов, в гробах из репы, свѣклы, моркови, – естественно было хоронить и умершую Ладу-Весну, эту своего рода Снегурочку, растаявшую в пламенных объятиях супруга-Солнца. С рассветом дня, женскую куклу Купалы, или зелёное деревцо, служившее её символом, бросают в воду, возвращая весну той стихии, из которой она и вышла два месяца назад, с первыми

оттепелями, в апрельском таянии снегов. Утопленная весна не исчезает, она разливается в природе. Это пантеистическое воззрение сказывается во многих песнях, но нигде – с большею ясностью, чем в той же малороссийской Ганне, что, как видели мы раньше, смутило Вадима Пассека на эвгемерические догадки. Песня эта, исполняемая непосредственно после утопления весны, ярко изображает даже последовательность, в какой исчезнувшая богиня проникает поглотившую её природу.

Як пишла Ганна в Дунай по воду
И ступила Ганна на хитку клатку,
?Ганна моя панна,
?Ягода моя червонная! (припев после каждых двух стихов)
Кладка свихнулась, Ганна втонула;
Як потопала, тричи зринала.
Не берите, люди, у Дунаи воды –
В Дунаи воды Ганнины слёзы.
Не ловите, люди, у Дунаи щуки,
В Дунаи щуки Ганнины руки.
Не ловите, люди, у Дунаи сомив,
У Дунаи сомы Ганнины ноги.
Не ломайте, люди, по лугам калины, –
По лугам калина Ганнина краса.
Не рвите, люди, по лугам терну, –
У лузи терен Ганнины очи.
Не косите, люди, по лугам травы, –
По лугам трава – Ганнина коса.
?Ганна моя панна,
?Моя ягода червонная!

Название Марены, т. е. богини смерти, странно прилагаемое в некоторых местностях к женскому божеству Купалина праздника, может быть легко уяснено тем обстоятельством, что в начале весны древние славяне-язычники, действительно, топили чучело Марены, смерти, цепенящей мир зимы; впоследствии, когда, с христианством, и количество стихийных праздников сократилось, и значение их стало затемняться, – сходственность обрядов при проходах умирающей зимы и умирающей весны смешала понятия и заставила перенести на вторую имя первой.

Некоторые, исходя из санскритского «купало» – покаянник, хотят видеть в купалином торжестве древний арийский праздник очищения огнём и водою, свершаемый в Индостане приблизительно в тех же числах июня (Снегирёв). Люди прыгают через костры с тою же очистительною целью, с какою татарские ханы заставляли проходить чрез огонь князей русских, приезжавших в орду на поклон. Это не невероятно, – особенно, если сообразить, что огненное крещение купальским огнём предшествует купанью в росах и реках, только что освящённых нисшествием божественной силы. Чтобы удостоиться купанья в святой воде, тело должно быть очищено от накопившейся на нём скверны. Это сознание и в христианстве удержалось. Наши паломники в Палестине, исполняя священный обряд купания во Иордане, входят в воду в сорочках считая грехом сквернить воды, омывшие некогда Христа Спасителя нагим телом. Насколько старо такое обыкновение, свидетельствует былина о Ваське Буслаеве. Богатырь, как известно, не веровал ни в чох, – не поверовал он и вещице жене, предостерегавшей его от купанья нагим телом в Иордане-реке. За то и сложил он вскоре свою голову, запнувшись за камень на Фавор-горе.

Наиболее характерный из огненных обрядов, – когда-то, вероятно, повсеместный, а теперь уцелевший лишь у немногих славянских племён и кое-где в Германии, – состоял в скатывании с горы в воду обмазанного смолою и зажжённого колеса: символ, что солнце отныне пойдёт под гору. Символ, действительно, вышедший из глубочайшей, едва ли ещё не ведийской древности. Что солнце в Иванов день ликует на восходе, как именинник, – почти всеобщее славянское поверье; мы видим его у болгар, поляков, сербов, в Силезии. Русские переносят игру солнца на Петров день. Впрочем, он вместе с Всесвятскою неделею, вообще, в народной мифологии является как бы повторным отголоском Ивана Купалы – с преобладанием, однако, пылкого Ярилина элемента и на этот раз, действительно, пожалуй, с примесью громового культа. В Сербии говорят, что на великий праздник святого Иоанна солнце из уважения к нему троекратно останавливается. По другим поверьям – оно делает три прыжка по небу.

Хотя, чуть ли не с тех пор, как мифология стала интересоваться обрядами, символизирующими радостный праздник купающегося солнца, не перестают раздаваться жалобы любителей старины, что обряды эти умирают и забываются, однако – купальские костры держатся ещё крепко. От Урала до Рейна, от Арарата до финляндских озёр в ночь 23–24 июня, как и тысячу лет тому назад, горят огни, обесмысленные для народного сознания, но священные для привычки народной. В Польше, Богемии, в Силезии, а также, местами, и у нас – в Новгородской губернии Купало известен под именем Сobotки, т. е. малой субботы, – большая «Собота» чествуется в Великую Субботу под Светлое Христово Воскресение. Сobotка в Карпатах, Судах и т. д. – великолепнейшая иллюминация в свете: костры пылают на пространстве нескольких сот вёрст, переключаясь друг с другом своими пламенными языками через большие расстояния, что – по словам старинного описателя – «представляет пленительное зрелище даже и для тех, которые всё ещё бранят народное увеселение, почитая его языческим, хотя простолюдины о том и не думают».

Красное яичко

Каждый праздник нисходит на землю, как некий царь, – в сопровождении ярко расцветной свиты обычаев, преданий, поверий, примет и суеверий, накопленных веками, в пышном ореоле символов, часто заслоняющих в мировоззрении среднего человека религиозную или историческую основу празднуемого события. Так, – за блеском легенды о «святом», за лучезарным сиянием поэтического венца вокруг его головы, теряются зрительные представления о действительных чертах его лика. Наиболее резкий пример, как история святого может быть совершенно уничтожена поэтической легендой о нём, представляет собою жизнеописание св. Георгия, рыцаря-патрона «старой весёлой Англии», в действительности же александрийского епископа в четвёртом веке, притом далеко не блестящего в ряду великих мужей тогдашнего мощного христианства. Полюбившийся символ заслонил в веках человека. Для множества людей, праздник – также, прежде всего символ: Рождество – это детская ёлка; Троица – берёзки, цветы, гирлянды, крёстный ход; Иванов день – потешный костёр, расцвет папоротника, шуточное кладоискательство; Вербное воскресенье уже одним названием своим обличает символ, с ним сопряжённый; Успение – праздник дожиночного снопа, а на юге – первой кисти винограда; Преображение слышит в народе Спасом на яблоках, в отличие от Спаса на воде и Спаса на меду. Христианство, таким образом имеет своих язычников, бессознательно сближающих религии, происшедшие из Евангелия с пантеизмом древних извечных культов; жизнь Христа комментируется для них годовым оборотом жизни природы, Бог всеобъемлющей любви есть не только Солнце Правды, но и зримое солнце, животворящее землю. Это христианское язычество, в огромном большинстве своих проявлений, настолько грациозно, наивно и трогательно, что против него редко поднимаются руки даже у самых суровых ортодоксов церковной догмы. Вере оно никогда нигде не мешало.

Напротив, можно смело утверждать, что – где народ начинал терять свои «суеверия», там он весьма скоро расставался и с верою. Да и понятно: почти все христианские «суеверия» проникнуты жаркою любовью к Христу, твёрдою верою в Его могущество и правду, каких не привьёшь человеку катехизическим внушением, – они родятся из непосредственного, природного самосознания. Вера природная, вера по инстинкту всегда и всюду стояла выше веры рассудочной, вера с наглядным, образным символом чувствуется и держится обыкновенным человеком, не мыслителем, надёжнее и прочнее веры отвлечённой, умозрительной.

Символ праздника праздников, – Св. Пасхи, – красное яйцо. По довольно распространённому мнению, естественное происхождение обычая пасхальных яиц надо приписать учреждению обязательного поста. В IV веке церковь воспретила употребление в пищу яиц в течение сорокадневия, т. е. как нарочно в такое время, когда куры, по вешней поре, начинают нестись с особенным усердием. Запрет соблюдался строго; в домашнем обиходе христиан накоплялось чрезмерное количество яиц, которые хозяева не знали, куда девать; чтобы избавиться от них, стали отдавать в забаву детям. Ввели обычай дарить к празднику родным и друзьям яйца, выкрашенные в пёстрые цвета и расписанные священными фигурами и нравоучительными изречениями. Чтобы освятить новый обряд, сразу полюбившийся поэтически настроенному христианскому обществу первых веков, нашли легендарный авторитет, якобы его утверждающий. Явилось предание, будто считать красное яичко символом Воскресения Христова подала пример Мария Магдалина: она-де, придя в Рим, на Пасху, в амфитеатре, засвидетельствовала своё христианство перед Тиберием, подав ему красное яичко и приветствуя цезаря словами:

– Христос Воскресе!

Завелась игра в красные яйца, живущая и по сие время. Стучали одно яйцо о другое; чьё яйцо было крепче, тот забирал себе все разбитые. Отсюда пошёл обычай варить пасхальные яйца вкрутую, чтобы сделать их жёстче.

Таким – бесспорно ошибочным и наивным мотивом – объясняет происхождение красного яичка, в числе других, Амедей де-Понтье. Но обычай этот гораздо древнее христианства; мы находим его, в разных видоизменениях, и у народов нехристианских. Персы дарят друг другу яйца на новый год, а евреи, как и русские, на праздник своей пасхи. Так как в христианском Риме, а равным образом у франков, при Капетингах, пасха и новый год совпадали, то можно ещё считать открытым вопросом: было ли у них красное яичко подношением пасхальным или новогодним? Что яйцо, как эмблема начала всех начал, пользовалось в древних языческих культах и многих философских системах большим вниманием и почётом, излишне объяснять: факт общеизвестный и общепонятный. «Весь мир – из яйца». Эту уверенность встречаем мы в мифах Индии, Китая, Японии, в финской Калевале; яйцо – отражение макрокосма. Мистическое значение яйца, прямо из язычества, минуя христианство, перешло в средневековую магию, наследницу еврейской Каббалы и восточных дуалистических культов. Колдуны употребляли яйцо для заклинаний дьявола. Ловко вынув желток и белок, они чертили на внутренней стороне скорлупы магические знаки, влиянием которых изводили людей. Сказки русские, западнославянские, немецкие, скандинавские постоянно связывают с яйцом судьбу своих героев. «Где твоя смерть, Кощей Бессмертный? – Моя смерть далеке: на море на океане есть остров; на том острове дуб стоит, под дубом сундук закрыт, в сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, а в яйце – моя смерть!» По другой сказке, на диво нежной и грациозной, как нельзя лучше подтверждающей, что и нашей старине не чужд рыцарский культ женщины, многими для древней Руси совершенно отрицаемый, – в яйце, спрятанном столь же надёжно, как смерть Кощея, заключена «пропавшая любовь» Царь-Девы – солнечной богини. Иван – купеческий сын, после долгих и трудных странствий и приключений, добыл яйцо, угостил им Царь-Деву, и остывшая было любовь её к нему запыхала с новой силою. Знакома русская сказочная мифология и с развитием мира из яйца. Царевны, избавленные богатырём от человекоядцев – змиев, дарят ему яичко медное, серебряное, золотое. Разбил богатырь медное яичко, и выросло вокруг него медное царство; в серебряном яичке заключалось царство серебряное, в золотом – золотое. В сказках Оренбургской губернии о Даниле Бессчастном, о Василье Царевиче и Елене Прекрасной мистическое значение придаётся уже не просто яйцу, но именно яичку пасхальному. «Вот тебе, молодец, три яичка: первым похристосуйся с князем, вторым с княгиней, а третьим – с кем тебе век прожить». Данило Бессчастный не уберёт третьего яичка, отдал его не своей жене – премудрой Лебеди-Птице, а первому встречному нищему, и лишился своего счастья и удачи, подвергся сраму и тяжёлым искупительным испытаниям. В яйце – судьба, любовь, царство, мир: яйцо божественно. Из яйца вышел первородный бог орфеевой мифологии – Фанис, осмеянный христианским апологетом Афинагором-афинянином. Из яйца исходит целая серия символических божеств Эллады; шарлатан империи римской, Александр из Абонотейха, не возбудил ни малейшего удивления, когда, по предварительно подтасованному пророчеству, ловким фокусом, вывел перед суеверною толпою из яйца якобы «новорождённого» бога Эскулапа, во образе змеи. Римский обычай начинать трапезу с яиц, – откуда известная поговорка *cantare ab ovo usque ad mala*, – многие изъясняют, как мистическое освящение яйцом всей дальнейшей снеди, подобно тому, как и в наши дни люди, держащиеся за старину, возвратясь от пасхальной заутрени, разговляются прежде всего освящённым яйцом, а потом уже насыщаются прочими кушаньями, заготовленными на праздничный стол. Пётр Петрей передаёт, что в царской Руси человек, который в течение Великого поста касался зубами скорлупы яичной, уже лишился права на причастие в Светлое Христово Воскресенье. Та же кара постигала его, если он имел кровотечение из дёсен. Красное яичко укрощает молнию: если грозою зажгло избу, утишить пожар

можно, лишь перебросив через «неборужденное» пламя пасхальное яичко. Оно смиряет нечистую силу. Подружиться с домовым, по народному представлению, очень просто. Стоит лишь запастись красным яичком, которым впервые похристосовался священник после Светлой Заутрени. С таким яйцом и с зажжённую свечью, тоже оставшеюся от пасхальной заутрени, надо стать ночью, до петухов, перед растворенной дверью хлева и сказать:

– Дядя дворовой! Приходи ко мне ни зелен, как дубравный лист, ни синь, как речной вал; приходи – каков я. Я тебе Христовское яичко дам!

Тогда выйдет из хлева домовый точь-в-точь похожий на того, кто его вызвал, возьмёт яичко и будет заклинателю верным другом на всю жизнь.

Праздник Воскресения Христова – праздник объединения мёртвых с живыми. Общение с мёртвыми во Христе – исконное убеждение всех славян, и до христианства имевших весьма развитое представление о загробной жизни. По весьма распространённому поверью – на первый день Пасхи отпирается небо, и в продолжение всей Светлой недели души усопших постоянно обращаются между живыми, посещают своих родственников и знакомых, пьют, едят и радуются вместе с ними; в Москве до сих пор держится обычай христосоваться с покойниками: ходят на кладбища, кланяются могилам родным с обычным возгласом «Христос Воскресе!» и кладут на могилки красные яйца, ломти творожной пасхи и т. п. Так как врата неба отверсты, то свободен не только выход из них, но и доступ в оные. Поэтому – человеку, умершему на Пасхе, предназначен невозбранный вход в рай: праведен ли, грешен ли, он, безразлично, наследует царствие небесное. Всякому, кто умирает между Светлым Днём и Вознесением кладут в гроб красное яйцо, чтобы, на том свете, покойник мог похристосоваться со своими родичами. В Малороссии и Галиции принято бросать в воду скорлупу от крашенных яиц. Объясняется это преданием, что где-то далеко за морем-океаном, под самым Востоком солнца, ест счастливая страна, обитаемая блаженным народом – «рахманами», т. е. брахманами, браминами. Они ведут святую жизнь, содержат круглый год строгий пост, разрешая себе мясо лишь на Велик день, т. е. в Светлое Христово Воскресенье, которое празднуется у них не вместе с другими христианами, но тогда, когда скорлупа священного красного яйца доплывает к ним от нас через морской простор. Сравнительная мифология давно выяснила, что «царство рахманов» средневековой легендарной литературы есть не иное что, как царство мёртвых. И у славян, и у германцев скорлупа яйца, брошенная в ручей, постоянно рассматривается, как таинственный корабль, перевозящий души усопших, а также русалок, эльфов, ведьм с нашей земли в землю ангельскую – Engelland. Общепринятый обычай во всех славянских землях сыпать в Светлое Воскресение на могилы родных корм для птиц и, в особенности, крашенные яйца, находится также в тесной связи с убеждением, будто в этот день души усопших гуляют на воле: они чаще всего прилетают на землю «из вирия» (т. е. вечнозелёной страны), перекинувшись птицами. Отсюда же обычай выпускать на праздники Благовещения и Пасхи птиц на волю, – в особенности, голубей; симпатии к последним помогла символика христианской иконописи, олицетворившая в виде голубя Духа Святого. Освобождение птиц из клетки – освобождение душ из ада. Впоследствии, когда вера окрепла, когда хотелось истинным христианам, ознаменовать праздник не только полусознательным, традиционным повторением обряда, хотя и очень красивого и трогательного, но, в основе, всё же суеверного, – короли, князья, магистраты замечали выпуск птиц на волю – освобождением узников из темниц. Для мёртвых разверзались могилы, для живых – тюрьмы. На старой Москве царь нисходил христосоваться к темничникам, «яко Иисусь Христось во адъ». «Сам великий князь встаёт в этот праздник около 12 часов ночи и ходит по всем темницам и заключениям, где сидят преступники, которых всегда большое число, велит носить за собою несколько сотен яиц, даёт каждому заключённому по яйцу и по овчинному тулупу и, не целуясь с ними, говорит, чтобы они радовались и веровали несомненно, что Христос за грехи всего мира распят, умер и воскрес; потом идёт в церковь и приказывает опять запереть и стеречь темницы, думая, что таким смирением и уничтожением

много сослужил Богу и заслужил рай» (Пётр Петрей). Во Франции пасхальное освобождение узников имело основанием легенду о св. Романе (VII в.). Вот она:

«В Сене жил свирепый дракон, по имени Gargouille. Он топил суда, а на берегу пожирал скот, выгоняемый пастись на заливных лугах. Уже много бесстрашных рыцарей (sans peur) выходило на поединок с ним, но дракон был непобедим: всех убил и съел. Тогда за обуздание наглости дракона взялся св. Роман, в ту пору архиепископ руанский. Прежде всего он отправился в государственную тюрьму и взял оттуда в помощь себе двух осуждённых на смерть. Затем, предводительствуя огромною толпою любопытных, епископ пришёл к логовищу чудовища. Голос святого мужа сразу укротил дракона: Гаргуйль стал смиреннее овцы. Св. Роман надел ему на шею верёвку, прикрыл его епитрахилью, и узники повели дракона, как собаку, к месту общественных казней, где полудемона-полужверя ждал уже достойный его злодеяний костёр. Очутившись в огне, Гаргуйль попробовал было потушить пламя, излив из пасти огромное количество воды, но, по молитвам св. Романа, не успел в том и превратился в пепел». С тех пор в Руане завёлся хороший обычай отпускать на волю двух, заключённых ради Светлого Христова Воскресения, а в архитектуре – появился термин gargouilles: стоки для грязной воды, извлекаемые по углам готических соборов, в виде фантастических животных с разверстою драконовою пастью. В Руане узников освобождал – по рекомендации их благодетеля тюремщиком – архиепископ, лично для того посещавший тюрьму. В Париже та же церемония производилась в Notre Dame: архидиакон разбивал звено цепи, и заключённого отпускали на все четыре стороны, взяв с него слово исправиться. Другая пасхальная церемония в Notre Dame, державшаяся со времён Роберта Благочестивого, и именно с 995 года, до века Людовика XV, – месса бесноватых. Доброта Роберта граничила со святостью. Однажды, заметив, что вор норовит отрезать золотую кисть с его королевского плаща, Роберт ограничился дружескою просьбою к мошеннику:

«Друг мой, не воруй, сделай милость, целой кисти; оставь половину для другого горемыки!»

По приказанию Роберта был воздвигнут дворец – Palais de la Cité. Освящение его было назначено на Светлый День. Все бедняки Парижа получили даровой обед, за богато накрытыми столами. Перед началом обеда, король умыл руки: слепой нищий попросил у него милостыни; король, шутя, брызнул ему в лицо грязною водою, – слепой прозрел. Чудо это положило начало ежегодному празднеству.

Пролог мессы бесноватых разыгрывался в капелле св. Людовика (Sainte Chapelle), воздвигнутой этим королём, как пантеон для мощей, которые он собирал отовсюду, – в ночь с пятницы на субботу Страстной недели. Все бесноватые Парижа приходили туда аккуратно каждый год, в надежде избавиться от терзающего их легиона злых духов. Можно вообразить, что за адский вопль и крик, какие обезьяньи кривлянья, проклятия и богохульства потрясали капеллу в эту страшную ночь! Когда демонское шаривари становилось окончательно невыносимым, старший каноник капеллы появлялся среди безумцев, держа в руках ларец с частицею Животворящего Креста. Вид великой реликвии умиротворял страшное сборище. Шум затихал, конвульсии прекращались, энергия бешенства сменялась упадком сил и глубоким сном. На завтра, в Пасху, бесноватые шли в Notre Dame благодарить Бога за временное облегчение их участи: эти бедные, казнимые природою души, действительно, ведь, как бы вырывались на несколько часов из ада! Они слушали мессу отдельно от других молящихся, в боковой часовне; священники кропили их святою водою, и они расходились по домам на новые страдания – впредь до следующей Пасхи.

До самого последнего времени, пасхальный обычай духовенства славить Христа по приходу свершался на католическом Западе приблизительно в той же форме, что и у нас, и, как у нас, священников награждали, – по крайней мере, во Франции, – нарядно разукрашенными яйцами. Крашанки и писанки, столь распространённые у нас, на Западе, однако, уже давно

вывелись, заменённые яйцами искусственными – фабрикатами из сахара, шоколада, гипса и т. п. Так как на Страстной неделе колокола в католических городах безмолвствуют, то во французском народе сложилось наивное, но не лишённое поэзии поверье, будто их в это время вовсе нет на колокольнях: они паломничают в Рим – на благословение папы и возвращаются из странствия как раз к Светлому Воскресению, отягчённые подарками для детей прихода, ими оглашаемого. Это – как бы продолжение рождественских тайных даров ребятишкам, подкидываемых отцами и матерями от имени Св. Николая. Излюбленный дар – яйцо, красное, как «мантия кардинала», свидетельствует детворе, что оно прямёхонько прибыло для неё, по воздуху, из Рима. Между колоколами есть тоже своя легендарная иерархия: лучшие дары посылает большой праздничный колокол, потому что он «принц звона»; зауспокойный колокол не дарит ничего, потому что он нищий. В Нормандии принято устраивать на пасху «ёлки» из крашенных яиц, как на Рождество, только священным деревом избирается не ёлка, но бук. В Пикардии и Артуа пасхальные яйца прячут в молодой траве лугов, в первых цветах садов и посылают детей разыскивать запрятанное, как будто бы рождённое самою землёю, – как-то грибы, ягоды и т. п.

Но, предостерегает древняя легенда, надо быть очень осторожным с пасхальными дарами, ибо злой дух, всегда подстерегающий добычу, ухитряется иногда подложить в корзину яиц, освящённых Богом, своё проклятое яйцо. Некогда в Бурбонне жила бедная вдова с дочерью – девушкой весьма красивой и рассудительной. Звали её Жанною. Дьявол позавидовал добродетели девушки и захотел её погубить. В день Пасхи, когда Жанна была одна дома, к ней в окно заглянула нищая и попросила милостыни. Жанна подала. Нищая сказала:

– Ты так прекрасна и добра, что заслуживаешь щедрой награды. Предсказываю тебе: не пройдёт года, как ты будешь госпожою всего округа и хозяйкою замка, господствующего над странюю. Мне нечем отблагодарить тебя, кроме вот этого яйца; однако, не брезгуй им: оно не совсем обыкновенное. Возьми его, – пусть оно будет тебе моим свадебным подарком. Но дай мне слово, что ты не разобьёшь его ранее, чем будешь обвенчана!

Жанна обещала. Старуха скрылась. Несколько дней спустя, приехал из Парижа местный сеньор – сир Роберт-де-Вольпиак, увидел Жанну, влюбился, и не несмотря на низкое происхождение девушки, женился на ней... В первую брачную ночь, она вспомнила о роковом пасхальном яйце, с которым пришло к ней счастье. Молодой муж, по смутному предчувствию, отговаривал жену любопытствовать, что скрыто в таинственном яйце, но Жанна не послушала – бросила яйцо на пол, и... о, ужас! оттуда выскочила огнедышащая жаба! Гадина вспрыгнула на брачную постель злополучных супругов, зажгла своим дыханием полог, весь замок вспыхнул, и молодые погибли в пламени... Легенда – нельзя сказать, чтобы премудрая, и, за что, про что погибла добродетельная, ни в чём неповинная Жанна, постичь столь же трудно, как и вывести из её гибели какую-либо мораль. В бретонской народной балладе нечто подобное повествуется об Элоизе и Абеларе, уцелевших, как это ни странно, в памяти народной, хотя и с весьма дурною репутациею – бесстыдно страстных любовников и страшных колдунов. В этой балладе появляется на сцену роковое «погубительное яйцо» средневековой магии и талмуда, снесённое в шабаш курицею или даже чёрным петухом: под его невинною на вид скорлупою таится, вместо скромного цыплёнка, смертоносный аспид.

В славянских землях, особенно в Малороссии и Галиции, натуральные крашанки и писанки до сих пор господствуют над фабрикацией искусственных пасхальных яиц. Узоры писанок разнообразны до изумления. На львовской выставке 1894 года я сам видел коллекцию более, чем в 2000 пасхальных яиц, из которых ни одно не походило на другое. Целая энциклопедия южнорусского народного орнамента!

Прелестная, похожая на легенду, история пасхального сватовства, через посредство красного яичка, – свадьба Маргариты австрийской, правительницы Фландрии, общеизвестной но «Эгмунту» Гёте, и Филиберта Красивого, герцога Савойского. Они встретились на богомолье

в Брессе, очаровательном местечке, на западном склоне Альп, где – говорит старая баллада – «было о чём помечтать молодой девушке!»

«Où jeune fille pouvait rester moult!...»

В резиденции Маргариты, в замке Brou, веселились на славу и хозяева замка, и окрестные крестьяне, смешавшись в общем народном празднике пасхальных дней. Леса, окружающие Бру, переходили на савойскую территорию. Герцог Филиберт, – подобно Немроду, «великий ловец перед Господом», – заехал в Бру с охоты засвидетельствовать своё почтение молодой и прекрасной принцессе австрийской. Был устроен танцевальный праздник в деревушке Бург. Веселился весь околоток, без различия возрастов и сословий. Старики стреляли из лука в бочку вина, и, чья стрела вышибала втулку – счастливцев получал право пить из бочки «до спасибо» (jusqu'à merci).

Сотни пасхальных яиц были рассыпаны на песке; парни и девушки, парами, плясали между ними, держась за руки, народный танец. Если пара кончала пляску, не раздавив ни одного яйца, танцоры становились женихом и невестой. Маргарита и Филиберт приняли участие в этой оригинальной забаве и танцевали так счастливо, что, по окончании пляски, Маргарита, горя румянцем, положила свою руку на руку Филиберта и сказала:

– Исполним же и мы обычай Брессы!

И они повенчались. Из этого случайного порыва влюблённости получился один из счастливейших браков, какие знает история.

Обычай Брессы – парование мужчин и женщин в брачные четы на весеннем празднике возрождённой природы – бесспорно, языческий. Он весьма близок к обычаю сербов: на второй день Пасхи поселяне идут на кладбище, раздают милостыню нищим, служат панихиды по усопшим, а затем, в особой мистической игре, дружатся между собою, – парни с парнями, девицы с девицами. Игра состоит в том, что, сплетя из вербы венки, целуются сквозь них, потом меняются красными яйцами и самыми венками; проделав этот обряд, мужчины становятся на годовой срок побратимами, а женщины – подругами.

Чем тяжелее слагалась жизнь народа, чем суровее была власть, создававшая его быт, чем резче сказывалась разобщённость классов, тем яснее выступал в таких странах и государствах братолюбивый, христиански ровняющий слои общественные характер пасхального праздника. «Другъ друга обьемемъ, рцемъ, братіе, и ненавидящимъ насъ простимъ». Феодал не считал своих вилланов за людей; виллана можно было застрелить безнаказанно – лишь для пробы лука. Но в день Христова Воскресенья, гордый Филиберт и известная своею историческою надменностью, дорого стоившею ей в политическом отношении, Маргарита не гнушаются справлять праздник вместе с своими вилланами и даже подчиняться их обычаям. То же было и у нас, при крепостном праве. А вот – описание пасхальной недели, оставленное нам о старой допетровской Руси – о той Руси, которую А. К. Толстой характеризовал двумя энергичными стихами:

И вот, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью её назовёте.

«Когда наступит праздник Пасхи, в подтверждение Воскресения Христова из мёртвых, русские соблюдают такой обряд, что по всем городам и деревням страны, на всех больших и малых улицах, ставят несколько тысяч бочек и котлов с варёными вгустую яйцами, окрашенными в красный, синий, жёлтый, зелёный и разные другие цвета, а некоторые из них позолоченные и посеребрённые. Прохожие покупают их, сколько нужно, кому, а ни одного яйца не берегут для себя, потому что во всю Пасху все люди, богатые и бедные, дворяне и простолюдины, мужчины и женщины, парни и девушки, слуги и служанки, носят при себе крашенные яйца, где бы они ни были, куда бы ни шли, а при встрече с кем-нибудь знакомым или незна-

комым, здороваются, говорят: „Христос воскрес!“, а тот отвечает: „Воистину воскрес“, и дают друг другу яйца, целуются и ласкаются между собою, а потом каждый идёт своею дорогою, пока не повстречается опять с кем-нибудь и не справит такого же обряда, так что иногда тратит до 200 яиц в день. Они так свято и крепко держатся этого обычая, что считают величайшей невежливостью и обидой, если кто, повстречавши другого, скажет ему вышеупомянутые слова и даст ему яичко, а этот не возьмёт и не захочет поцеловаться с ним, кто бы он ни был, княгиня ли или другая знатная женщина или девица».

Эту симпатичную картину рисует Пётр Петрей – в общем, злой враг старой Руси, усердный и тенденциозный обличитель её тёмных сторон. В государстве отатаренном, – по выражению поэта, «игом рабства клеймённом», – как видно, жило, однако, прочное сознание равенства всех людей в любви Христовой и сказывалось в наиболее выразительный день христианства, с трогательностью, непонятною угрюмому Петрею. Распространяясь на всю массу народную, оно сближало Христовым поцелуем царя с последним из его подданных. Праздник воскресшего Бога, воскресшей весны, воскресшего солнца, воскресшей любви людей друг к другу... Воистину праздников праздник!..

Неурожай и суеверие

Первые же страницы русской летописи повествуют нам о хлебных неурожаях и последующих за ними голодовках народных.

Под 1024 г. летописец отмечает «мятежь великъ и голодъ» по всей суздальской земле. В 1071 г. – «скудости» в области ростовской, по Волге, Шексне и Белу-озеру. В 1059 году от голода, холода и мора погиб целый степной народец – торки. В конце княжения Всеволода Ярославича (ум. в 1093 г.) Приднепровье постигли засухи, от которых загорались леса и болота, а за ними – неизменные последствия: голод и мор, т. е., по всей вероятности, повальный тиф, настолько свирепый, что в одном Киеве, в срок «отъ Филиппова дня (14 ноября) до мясного заговенья» было продано семь тысяч гробов. В 1094 году, в августе месяце, прилетела на Русь первая саранча и с тех пор стала постоянною гостьею нашего отечества. В 1127–1128 году голодал Новгород, – по обыкновению, с эпидемией тифа; люди ели липовый лист, берёзовую кору, мох, конину; улицы и площади были завалены мёртвыми телами, нельзя было выходить из домов от смрада непогребённых трупов; отцы и матери отдавали детей в рабство приезжим торговцам, чтобы не видеть их страданий от голодной смерти. В 1145 году новгородские бедствия повторились по причине страшных засух весною и ливней летом и осенью. Суздальский период русской истории почти сплошь – летопись голодовок. На каждые десять лет приходится, в северных пределах тогдашней Руси, т. е. в областях суздальских и новгородских, по одному голодному. Особенно страшны были годы 1212, 1214, 1215 и 1230. а между ними два последних. В эти неурожайные годы собаки не успевали поедать трупы, валявшиеся по улицам и городам; вымерли или разбежались, поголовно, все жители области Водь; новгородцы съели лошадей своих, собак, кошек; стало обыкновенным преступлением людоедство и пожирание покойников. Бедствие 1230 года было повсеместным в русской земле, выключая киевской области; продолжалось оно три года.

Я не пойду далее в этой печальной хронологии, доведённой, как мы видим, до самой татарщины, и, следовательно, обнимающей весь полуязыческий период Удельной Руси. Летопись свидетельствует, что голодовки и эпидемии довольно часто сопровождались противохристианскими волнениями в народе недавно окрещённом, нетвёрдом в новой вере, хорошо памятующем культ старых богов и привычном к повиновению жрецам их – «волхвам» летописи. В Суздале волхвы «избиваху старую чадь по дьяволу наученью и бесованью, глаголюще, яко си держать гобино» (урожай). Движение было настолько сильно, что великий князь Ярослав, несмотря на затруднительное своё политическое положение в 1024 году, счёл необходимым лично поехать в суздальскую землю для усмирения мятежа. В ростовскую смуту, когда Ян, собиратель княжеской дани схватил на Белом озере двух волхвов, занимавшихся тоже избиванием «старой чади», то, на вопрос; «чего ради погубиста толико человекъ?» – он получил ответ: «яко ти держать обилье да еще избіев? сихъ будетъ гобино». На допросе волхвы показали, что они веруют богу, живущему в бездне, рекомому антихристу, и рассказали космогонический анекдот о сотворении человека – совершенно однородный с таковыми же преданиями у нынешней мордвы, черемисов, вотяков и т. п. Ян отдал волхвов на кровомщение семьянам, женщин которых они избивали; те повесили обманщиков на дерево. Пришёл медведь – Перунов зверь – и съел их тела. Мятеж прекратился.

Добиться от белозерцев выдачи волхвов Яну стоило немало труда: столь велико было влияние слуг «бога бездны», даром что многих из народа они лишали матерей, сестёр и жён. Влияние это опиралось на общераспространённом суеверии не только языческих, но и христианских народов в утро их умственного развития, – будто все явления природы – дело рук человеческих, получивших власть над богами (в язычестве) или демонами (по христианским понятиям), при посредстве таинственных чар и заклятий. Суеверие в язычестве было верою.

Все языческие культы построены на доверии общества к лицам, имеющим привилегию непосредственного общения с богами – тайными силами, одухотворяющими природу. Христианство уничтожило стихийных богов, как власть, главенствующую в мире, но не вовсе истребило их из памяти своих неопитов. Низверженные стихийные боги продолжали существовать, хотя и под спудом, инкогнито; подобно гейневскому Витцли-Пуцли, они вылиняли, переменили оболочку и сделались чертями. Прежде они были и добрыми, и злыми, – теперь стали злыми по преимуществу; с ними можно было сноситься по-прежнему и следовало ладить, чтобы не было от них никакого вреда. Равным образом, по-прежнему следовало почитать и ублажать тех, кто был в тесной дружбе с отставными богами, являлся посредником между ними и человеком.

Богами язычества управляли волхвы. Новокрещённые дикари, не успев забыть языческий предрассудок, что священнослужитель, так сказать руководствует волею божества, суеверно перенесли миссию управления силами природы на новое христианское духовенство: совершенно по той же аналогии, по какой народ передал молнии Перуна – пророку Илье, а скот, отнятый у Волоса, – мученику Власию. В летописи неоднократно встречаются указания, что народ приписывал духовенству засуху, неурожай, град, ливень и т. п. Так, например, в 1228 году, новгородцы, напуганные необыкновенными жарами, заподозрили в производстве их своего епископа и прогнали его «аки злодея пыхающе». И, наоборот, легенда приписывает другому духовному лицу – иноку Киево-Печерской лавры, преподобному Прохору Лебеднику, могучую сверхъестественную помощь народу во время голода при великом князе Святополке Изяславовиче; он лебеду обращал в хлеб, а золу – в соль. Известен обычай, не окончательного вымерший даже в настоящее время, «катать попа» по жнивью, в надежде на будущий урожай. Наконец, народ до сих пор считает недоброю приметой, выходя из дома, встретить духовное лицо. Что предрассудок этот извечный, языческий, свидетельствует Нестор под 1064 годом: «Не погански ли живемъ, ежели еще веруемъ въ встречу, ибо кто встретитъ монаха, зайца или свинью, возвращается назадъ». Такое же поверье есть и о встрече со старою бабою – исконною ведуньею, по народным понятиям. В 1770 году мужики села Войтовки приняли своего священника о. Василия, за упыря, повелевающего мертвецами и, вместе с ними, опустошающего село: несчастного пробили навывлет осиновым колом и заживо зарыли в землю. Зловредное влияние, приписываемое суеверием дурным встречам, можно парализовать, бросив под ноги опасному встречнику булавку, иглу, гвоздь, нож – вообще, какое-нибудь острое металлическое орудие. Известный русский мифолог Афанасьев выяснил на сотнях примеров, что нож, игла, топор, молот, кол и т. п. в народных сказках и поверьях почти постоянно эмблемируют молнию, которою бог-громовник первобытных верований поражал своих врагов, грозных духов – прототипы чертей, ведьм, вурдалаков и т. п. Малороссы говорят: «если ведьма летит, стоит воткнуть нож в землю, – она сейчас же обессилеет и упадёт»; чехи: «если бросить нож в столб пыли, поднятый вихрем, он упадёт на землю, окровавленный, потому что непременно ранит скрытую в вихре нечистую силу или несомого ею ведуна». Не будет ошибкою заключить, что одинаковыми или аналогичными мотивами вызывается суеверное употребление острых орудий и при вышеуказанных встречах, – теперь бессознательное, а когда-то имевшее для народа свой таинственный смысл. А согласившись с этим мы вместе с тем согласимся, что наш предок-славянин был весьма мало склонен, в первые триста лет своего христианства, отличать новых духовных пастырей от представителей древнего языческого волхвования. На Западе было то же самое. Католическое духовенство, фанатически преследуя колдовство, само постоянно попадало под подозрение в этом грехе. Между 1504 и 1523 годами в Ломбардии запустело несколько монастырей, потому что монахини были сожжены за колдовство; то же случилось в Cambrai – cite.

В Вюрцбурге между 1627-29 годами, из 200 сожжённых, было 14 духовных лиц, один доктор теологии и три церковных регента. Общеизвестны страшные дела Урбана Грандье, Луи Гофриди, Булье и Пикара в XVII веке. В Далмации, Боснии, Герцеговине католический

«фратр» (францисканский монах) до сих пор пользуется репутацией ведуна с сверхъестественными знаниями. Даже православные, и не охотники до латинцев, стараются раздобыться амулетом от фратров: обыкновенно, писанным на бумажке *Pater Noster*.

Неурожаи, приковывая к себе весь интерес голодного полудикаря, заставляли его невольно искать ближайшую причину бедствия в служителях стихийным духам, в волхвах и волшевицах. Да и не одни полудикари в это верили. Вот голос, раздавшийся в 1484 году, с высоты папского престола, из уст Иннокентия VIII: «Множество людей обоюбого пола не боятся вступать в договоры с адскими духами и посредством колдовства делают неплодными брачные союзы, губят детей и молодой скот, истребляют хлеб на нивах, виноград и древесные плоды в садах и траву на пастбищах». Булла Иннокентия VIII, как известно, дала могучий толчок к вековому торжеству пагубного суеверия: запылали костры ведьм и колдунов, потянулись бесчисленные ведовские процессы. Средневековые судьи разобрали вопрос о возможности зловредно управлять стихиями с удивительной подробностью, *con amore*. Но ещё того подробнее разложили этот вопрос – на голодный желудок – по мелочам полудикари простонародья, в чьих головах, хоть и смутно, а всё ещё бродили старые языческие воспоминания. Приносить неплодие и голод стало считаться основным началом и целью колдовства. В Бамберге было казнено 1.200 человек, в том числе первые лица епископства, после того, как сознались в намерении произвести такой неурожай, «чтобы в течение 4 лет во всей стране погиб весь хлеб и всё вино, так что люди от голода съедали бы друг друга» (1629). Шутка девочки, которая, слушая жалобы отца на засуху, вызвалась наколдовать ему дождь, – и надо же быть такому несчастью, чтобы действительно разразилась страшная гроза с ливнем и градом! – стояла в 1615 году жизни тысячам женщин Венгрии: отец донёс на дочь, дочь – на мать, мать оговорила дюжину соседей, те – тоже, каждая назвала столько имён якобы сообщниц, сколько вспомнилось со страха и т. д. и т. д. Народная фантазия нашла и прямую корысть – из-за чего колдуны и ведьмы производят свои – бессмысленные, казалось бы, – опустошения. В первой половине IX века Агобар, лионский епископ, записал такую сказку: «Есть некая страна, именуемая Магония, из коей приходят на облаках корабли; воздушные пловцы забирают зерновой хлеб и другие плоды, побитые градом и вихрями, уплачивают за них чародеям, вызывающим бури, и увозят в своё царство». Сам Агобар смеётся над этою сказкою, как над глупостью, но жалуется, что знает многих, «одержимых таким безумием».

На Руси, к чести духовенства восточного, вера в ведовское ограбление урожаев и преследование колдунов не пользовались покровительством церкви даже в древнейшие времена христианства. Задолго до Вейера и Беккера, первых заступников мнимых колдунов, тысячами погибших на кострах инквизиции, Серапион, епископ владимирский, увещевал свою паству: «Еще поганскаго обычая держитесь, волхованію веруете и пожигаете огнемъ невинныя чело- веки и наводите на весь міръ и градъ убійство... Отъ которыхъ книгъ или отъ кихъ писаній се слышасте, яко волхованіемъ глади бывають на земли и паки волхованіемъ жита умножаются?» Разница отношения духовенства к колдовству в средневековой Европе и на Руси, может быть, отчасти обуславливалась именно тем обстоятельством, что наше, как начало новое в стране, ещё не торжествующее, а только завоёвывающее себе положение, само неоднократно попадало у своей безграмотной паствы в волхвы и, в этом качестве, испытало на собственном примере, каково это сладко, когда неповинного человека гонят ни за что, ни про что «аки злодея пыхающе».

Серапион произнёс свою проповедь, возмущённый размерами, какие приняли человекоубийственные преследования женщин, обвиняемых в похищении дождей и земного плодородия. Он с порицанием указывает на обычай испытания водою женщин, заподозренных в порче урожаев, – обычай, к сожалению, доживший в глухих углах как нашего отечества, так и Европы, без различия национальностей, до наших дней. Обвиняемую в колдовстве связывают крестообразно: левую руку с правой ногою, правую руку с левой ногою, и бросают в реку. Если дер-

жится на воде – ведьма: если тонет – не ведьма. В 1827 году такими испытаниями занимались карпатские горцы; в 1834 г. в Грузии был неурожай на кукурузу и пшено: колдунов бросили в воду, пытали на дыбе, жгли раскалённым железом; то же самое повторилось в пятидесятых годах. В 1839 году засуха дала повод расправиться с ведьмами по тому же образцу в Полтавской губернии. В 1875 году на Полесье мужики в одном селе, по совету стариков и старосты, задумали испытать ведьм водою и просили помещика, чтобы он позволил «покупать баб» в его пруде. Когда помещик отказал, все женщины села были подвергнуты осмотру через повивальную бабку, нет ли у которой из них хвоста. Трёх баб, оговорённых повитухою по недоброжелательству, посадили под арест и представили становому. Тот, конечно, освободил их. Засуха 1880 года едва не стоила жизни трём бабам деревни Пересадовки Херсонской губернии. Их сочли за колдуний, держащих дождь. Бедным женщин насильно купали в реке, пока они, чтобы спасти свою жизнь, не указали, где они «спрятали дождь». Староста с понятиями вошёл в показанную избу и в печной трубе нашёл замазанное «гнездо» с двумя напильниками и запертым замком. находка доказывает, что ведьмы были не умнее своих гонителей и, действительно, пробовали колдовать. Завязанный узел, запертый замок – старинный и повсеместный магический символ задержки плодородия: жатвы уничтожают закрутом, браки делают бесплодными, замыкая замок и забрасывая его, куда глаза глядят, с известным колдовским приговором. В Польше жгли старых баб не только при засухах, но и когда придётся – на всякий случай, чтобы застраховать себя от будущих засух и градобитий. А в старой Москве, когда после гибели Лжедмитрия I, ударили в мае безвременные морозы, пагубные для посевов, народ не нашёл лучшего средства обеспечить урожай, как сжечь труп «Гришки Еретника» и пепел развеять по ветру пушечным выстрелом.

История Гришки Отрепьева приводит нас к другому отделу языческих суеверий в христианстве: к вампиризму. Упырям, вовкулакам и т. п. иные мифологи усиленно старались придать значение стихийных сил; в увлечении стихийною теорией, Афанасьев додумался до такой изошрённой тонкости, будто вампиры – молниеносные духи, которые замирают на зиму в тучах, чтобы сосать весною живоносные соки возрождённой земли. Гораздо проще видеть в этом страшном порождении народной фантазии образ тех грозных моровых поветрий и голодовок, которыми были так часто удручаемы древность и средние века, особенно в германских и славянских землях (Тейлор). Упырь поедает сперва своих родных, а потом уже принимается за посторонних и не успокоится, пока не уморит всего села, а если кто чужой заедет потом, и того съест непременно. Разве это не совершенно точный образ появления эпидемии, последовательного распространения её от первого заражённого и способности долго держаться в одной местности? Так как мор был, в большинстве случаев, последствием голодовок, то народная фантазия снабдила упыря неукротимую алчностью: если ему нечего и некого есть, он грызёт дерево гроба, саван, свои руки. «есть хочу!» – его постоянный вопль. Вампир – это образ голодного тифа, постоянного бича славянской старины: вечный голод, разносящий повсеместную смерть! Описание наружности упыря, как представляет его народ: жёлтое, изрытое морщинами лицо, красные, налитые кровью глаза, обвисшая кожа на теле, – описание человека, бесноватого от голода. Кровавое человекоядство голодных упырей, быть может, даже вовсе не миф, а лишь смутное историческое воспоминание об эпохах в роде 1230 или 1602 года, когда люди, действительно, поедали свои семьи, а таких эпох славянство пережило достаточно.

Упырём, обыкновенно, делается умерший колдун. Это вполне понятно: искони веря в бессмертие души, наши предки полагали, что раз человек был волхвом при жизни, нет резона, чтобы дух его терял свои волшебные свойства и по смерти; раз он повелевал стихиями живой, отчего не повелевать ему ими и мёртвому; раз он при жизни посылал мор на людей, а на поля засуху, градобитие, ливни, бури, то и по смерти может делать те же самые злодейства. Приписывание засух «недобрым мертвецам», т. е. покойным знахарям, людям, погибшим «напрасною смертью», опойцам и т. п. – до сих пор частое суеверие. В голод 1892 года крестьяне

деревни Новоматюшкиной, Николаевского уезда, Самарской губернии, гадали на сходке, кто из мертвецов кладбища приносит им беду, и выгадали, пригласив к совету староматюшкинцев, что виновница зла – Арина Новикова, слывшая в народе колдуньей; к тому же были слухи, что она умерла не своею смертью, но отравилась. Мёртвую Новикову «миром» вырыли из могилы и утопили в омуте реки Узень. Среди обвиняемых по этому делу оказались двое сельских старост, сотский, десятский и сборщик податей, т. е. всё сельское начальство. В шестидесятых годах подобных случаев утопления недобрых мертвецов было несколько; в 1868 году крестьяне Тихого Хутора, в Тарашанском уезде, из опасения неурожая, вырыли «подозрительного» покойника из могилы, били его и обливали водою, приговаривая: «давай дождя!» В некоторых деревнях в разрытые могилы бывших колдунов лили воду целыми бочками, повторяя таким образом на мёртвом теле те же обличительные купанья, что применялись и к живым ведунам – похитителям урожая. От подозрения в вампиризме, как и в волшебстве, не избавлял даже самый священный сан. Мы видели, как войтковцы расправлялись со своим несчастным попом Василием. А благочестивый тишайший царь Алексей Михайлович в одном письме к патриарху Никону простодушно описывает свой испуг у гроба патриарха Иосифа, когда раздутое водянкою тело покойника стало пухнуть на его глазах: «и мне прииде такое помышление отъ врага – побегиде ты вонъ, тотчасъ же вскоча тебя удавить»... В 1089 году скончался в Киеве митрополит Иоанн; княжна Янка, дочь Всеволода Ярославича, поехала в Грецию за новым митрополитом и привезла другого Иоанна. Должно быть это был человек крайне болезненный: он прожил на Руси всего год, а худобою и желтизною своею прямо смутил суеверную, полужызыческую паству. «Его же видевшие людье вси рекоша: се павье (покойник) пришелъ».

Мы знаем, что древние славяне и германцы смотрели на будущую жизнь, как на продолжение земной жизни; знаем, что покойника отпускали в загробную страну с богатым запасом всякого имущества, чтобы мертвец ни в чём не нуждался. Однако, надо полагать, что со временем покойникам не хватало взятого с земли запаса, и тогда они бездолили градобитиями и грозами живых людей. Магония, откуда приплывали воздушные корабельщики Агобара, чтобы скупать у чародеев погубленные последними урожаями, есть не что иное, как легендарное царство мёртвых, выступавшее в средневековой литературе под многими аллегорическими наименованиями. В наших древних сказаниях оно известно, как царство блаженных рахманов, тождественных с павами, т. е. мертвецами. За царство мертвецов и злых духов были приняты первоначально вновь открытые Бермудские о-ва, что и подало Шекспиру повод написать свою фантастическую «Бурю». Царство рахманов, павов, Engelland, Nebelland, это – «вирий», таинственная вечно-зелёная страна какого-то оцепенелого лета. Туда осенью улетают птицы, уползают змеи; там вечный сон; оттуда прилетают в мир души новорождённых и туда скрываются покоиться на тихих водах души усопших; туда, на кораблях из яичной скорлупы, плавают феи, русалки, ведьмы, вещицы; туда же отвозили на воздушных кораблях побитый градом хлеб таинственные купцы таинственной Магонии. Одни сказки и легенды помещают вирий за тридевять земель, в тридесятном царстве, за морем-океаном; другие – под землёю, т. е. в той бездне, где жили боги волхвов, убитых Яном, куда наглядно для всех отходят покойники. Весна, зелень, тепло, дожди дарит миру «тот свет»; об оттепелях народ говорит очень выразительно: «родители вздохнули». Весенний дождь будит мёртвые силы природы, окостеневшие зимою, и обращает их в благие для людей. Очень может быть, поэтому, что обряд обливания могил и трупов при засухах, купание колдунов и ведьм при неурожаях лишь впоследствии, с утратою народом точных языческих традиций, обратились в обычай карательный, приняли характер истязания. Для древнего славянина мёртвый волхв был, конечно, не проклятым духом, но вещим полубожеством, которое надо было оживить жертвенным возлиянием, чтобы оно воскресло и помогло людям. Покойников оттаивает весенний дождь, – характерно, что в рассказанном выше случае на Тихом хуторе, подозреваемого в производстве засухи, упыря поливали

не просто из ведра, но сеяли на него воду решетом, т. е. подражая дождю. «Сею дождь решетом», хвалится ведьма в «Макбете».

Что идёт в землю возвращается оттуда сторицей; за зерно земля отдаёт сто зёрен; за имитацию дождя могила должна вознаградить плодоносным ливнем. Что касается купанья живых ведьм, то, помимо пыточного характера, этот обычай несомненно имеет и оттенок жертвенного обряда. Его легко сблизить с сербским обрядом додолы, справляемым тоже при засухах в таком порядке: «нагую девушку обвязывают травой и цветами так, чтобы почти не видно было её лица. В этом виде, как бы движущееся растение, она обходит дворы один за другим. Её зовут Додола. Каждая хозяйка выливает на неё ведро воды, а её спутницы поют песню с мольбою о дожде. Песня выражает твёрдую уверенность, что гроза немедленно нагонит поющих и оросит дождём поля и виноградники» (Л. Ранке, «История Сербии»). В губерниях Тамбовской, Тульской и в некоторых местностях Малороссии существует обычай «проводить русалок», заклинающая их, чтобы они берегли жито, не вредили посевам; по окончании обряда, чучело русалки топят в реке, а участники церемонии, в шуточной борьбе, обливают друг друга.

Через поверье о русалках, волшебная связь воли усопших с урожаем выясняется с полной яркостью, ибо непосредственное значение русалок в народной мифологии – грешная душа некрещёного ребёнка, утопленницы и т. п. Древле-мифологическое значение их столь разнообразно и сложно, что изъяснение его потребовало бы специального очерка. В первобытном своём виде, лишь самое ничтожное число стихийных духов дошло до нашего времени от древности. В среде их – кроме русалок – кобольды и цверги, которых русская народная мифология сохранила в поверье о подменышах, т. е. о детях, выкраденных якобы ведьмами, лешими, русалками, причём, на место похищенного младенца, нечистая сила кладёт своих собственных ребят. Украденные дети становятся вовкулаками, т. е. оборотнями-человекоядцами, со всеми признаками вампиризма, а их подменыши, вырастая среди людей, делаются колдунами, губителями рода человеческого, распространителями мора и голода; по смерти, они тоже вампирятся. От обыкновенных детей они отличаются страшным лицом, огромною головою, тоненькими ножками, вздутым брюхом (при безобразной общей худобе) и необычайною прожорливостью. Как читатель видит, все эти признаки «природного упыря» целиком взяты с признаков вырождения ребят от худого кормления. Подмыш обьедает семью и разоряет дом: на него не нападёшь. Это поверье держится в народе с редким упорством. В 1898 году в Малороссии одно детоубийство было совершено матерью в твёрдой уверенности, что она убивает подмыш. Ребёнок был идиот, урод и обжора, вполне подходивший под сверхъестественный портрет, выше приведённый. Мать ходила на подёнщину в экономию. Лили страшные дожди. Эконом и рабочие приписали мокропогодицу злomu влиянию урoда и запретили матери носить дитя на работу. Мать, чтобы не потерять подёнщины, наняла присматривать за сыном, в её отсутствие, какую-то старую бабу. Этой, напуганной общим суеверным страхом к ребёнку, бабе приснился сон, будто пришли к ней две женщины и говорят: что ты, дура, делаешь? за что взялась? кого стережешь? Разве это Лукерьян сын? разве людские дети едят зараз по целой ковриге? Лукерьяна сына давно выкрал нечистый, а это подмыш. Смущённая сном, старуха отказалась стеречь нечистое дитя, и матери пришлось снова взять его на подёнщину. Случилось так, что, едва она показалась с ним в экономике, стоявшая до тех пор ясная погода вновь сменилась ливнями. Бабу прогнали с работы, обругали, избили; тогда она и сама поддалась суеверному страху, вообразила в сыне нечистого и порешила от него отделаться: привела «подмыш» к оврагу и спихнула с кручи... Урод убили до смерти. Односельчане вполне одобряли бабу и решительно отказывались понять: за что её судить?

Вербы на Западе

Народ французский освятил Вербное воскресенье нежным и красивым именем «Цветочной Пасхи», – Raques-fleuries. Это – праздник первой весны. Церкви и дома благоухают цветами; всюду – букеты из маргариток, скромного лугового цветка, одноимённого, по-французски, приближающемуся празднику праздников (Raquerette). В сёлах, ещё не вовсе растлѐнных «концом века», крестьяне в праздничных одеждах посещают кладбища, где спят их отцы свяжут над их могилами вербы и, возвратясь с погоста, набожно укрепляют священные ветви над кроватью, между образками Спасителя и Божьей Матери. В Париже, накануне Вербного воскресения, пристань св. Николая в Лувре ещё недавно бывала завалена горами зелени, сплавляемой в столицу на судах по Сене. Несмотря на обильный привоз, зелень раскупали нарасхват, в несколько часов. Весь Париж зеленел: паперти, перекрёстки улиц, фонтаны, окна магазинов; у мужчин – ветки зелени в петлицах, у дам – букеты у пояса; кучера украшали зелёными султанами головы своих лошадей, водовозы оплетали травяными гирляндами свои бочки. Amédee de Ponthieu, автор интересной книги «Les Fêtes légendaires», характеризует Вербное воскресенье в Париже шестидесятых годов словами: «Атеисты, деисты, добрые католики и даже животные все справляют на свой лад праздник в честь грядущего во славе Бога – в честь воскресшей весны».

Празднование Вербного воскресения началось на Западе не ранее VI века по Р. Х., т. е. с распространением христианства на галльский, германский и славянский север, в недавнем язычестве своём привычный к празднествам весны, возрождающей столь дорогую сердцу дикаря растительность леса и степи. В странах католических Вербное воскресенье носит название «праздника пальм» – le dimanche des palmes, в воспоминание пальм, которые, девятнадцать веков тому назад, жители Иерусалима повергали под копыта осляти, привѐзшего к ним Господа Христа. В северных округах Франции пальмы заменяются, как и у нас, вербою или, ещё чаще, буксом – деревцом из породы молочайных, вечно зелёным, и зиму, и лето. Vixus sempervirens, определил его Линней. Почему он всегда зелен, – о том есть легенда.

«Когда Иисус, на кресте, испустил последний вздох, вся природа омрачилась, весь мир содрогнулся. Кровавые облака затмили солнце. Заблестали пламенные зигзаги синей молнии. Пропасти разверзлись. Люди, животные, птицы, в страхе прятались по дебрям и трущобам. Ни одна стрекоза не пела, ни один кузнечик не трещал, ни одна муха не жужжала. Мёртвое молчание давило всю природу. Только деревья, кусты и цветы шептались между собою.

И сказала пиния пустыни Дамасской:

– Он умер. Отныне, в знак траура, я навеки оденусь в тёмную хвою и буду расти, как отшельница, в степях, далёких от жилищ человеческих.

Сказала вавилонская ива:

– Он умер! Ветви мои! склонитесь, в знак печали, к водам Евфрата. Каждую зарю я буду плакать о Нём слёзною росой.

Сказала виноградная лоза улыбающегося Сорренто:

– Он умер. В знак горя, я стану теперь приносить гроздь, чёрные, как уголь, а вино, выжатое из моих плодов, получит название слѐз Христовых¹.

Кипарис с горы Кармила сказал:

– Он умер. В свидетельство скорби, я сделаюсь деревом кладбищ, хранителем всех смертных горестей.

Тис, и прежде тёмный, почернел ещё более и сказал:

¹ Лакрима Кристи.

– Он умер. В знак тоски по Нем, я тоже посвящаю себя гробам и могилам. Горе пчеле, которая коснётся моих отравленных скорбью цветов: она умрёт. Горе птице, которая сядет на мои ветви: она умрёт. Горе человеку, который дышит моими испарениями: он умрёт².

Ирис сказал:

– Он умер. С этого дня я покрою свою золотую чашечку фиолетовым крепом.

Повилика сказала:

– Он умер. В память Его я стану каждый вечер закрывать свой душистый венчик и открывать его только по утру, весь полный ночными слезами.

Так плакались все растения. Дубы роняли жёлуди, фруктовые деревья – плоды, платан растерзал на себе свою красивую кору. Скорбели все – от мощного ливанского кедра до подснежника в роще, до анютиных глазок в поле. Только тополь, суровый и надменный, не принял участия в общей горе. Он говорил:

– Что мне до Него? Он умер за грешных, – я безгрешен. Смерть Его меня не касается!

Слова тополя услышал ангел, улетающий на небо, с золотой чашею, полною божественной крови, собранной на Голгофе. В наказание безжалостному дереву, он брызнул кровью на корни его и повелел:

– Ты не делишь горя всей природы – не делишь же тебе и её радостей! В тёплые летние дни, когда все остальные деревья будут мирно дремать под солнечными лучами, ты один будешь зябнуть и дрожать от корня до макушки; люди презрят тебя и станут с этих пор звать не тополем, но осиною³.

Букс рос в кавказском ущелье. Тяжкий вздох умирающего Бога долетел к нему с Голгофы и оледенил ужасом его сердцевину. Листья его потемнели, ветки стали корявыми и переплелись между собою, словно ища помощи и защиты друг у друга. В свою очередь, он произнёс обет:

– Я буду вечно оплакивать Иисуса. В знак скорби, я хочу произрастать только в бесплодных каменистых горах; осенять могилы моими вечными зелёными ветвями, как символ вечной скорби; служить кропильницею для святой воды, когда ею орошают гробы усопших».

По другой легенде, Исаак, Вечный жид, проходя горами Кавказа, коснулся вечнозелёного букса. От прикосновения проклятой руки листья дерева, в ужасе, свернулись и скорбились. Жид сделал себе из букса – «железного дерева» – неизносимый посох, опираясь на который бродит он по свету, повинувшись таинственному велению:

– Иди! иди! иди!

В некоторых округах народное суеверие приписывало листьям букса большую мистическую силу; в других, например, в Франш-Конте, их считают, наоборот, вредными и проклятыми. В горах Юры есть предание, видоизменяющее пресловутую легенду о «Дикой охоте» тем, что место дикого охотника занимает в нём царь Ирод. Одному паромщику на Конде случилось якобы однажды перевести этого горемычного государя, вместе с несметною его собачьей сворой, через реку. Ирод расплатился с паромщиком золотом; но когда парень вздумал пересчитать монеты, не нашёл в кармане ничего, кроме листьев букса.

В Провансе вербами служат мирт, лавр, маслина, на Юре – бук; в Испании и Италии – пальмы.

На славянском Западе – у чехов, у галичан – обычай освящения верб тот же, что и у нас. Священная верба считается целебным средством от разных болезней; в её отваре купают детей; против лихорадки рекомендуется съесть девять распуколов с свячёной вербы; от переполоха –

² В Нормандии рассказывают, будто монахи одного аббатства вымерли оттого, что спали в комнате с полами из тиса.

³ Наши русские легенды объясняют вечную дрожь осины тем, что на ней повесился Иуда предатель. Народ никак не хотел, чтобы у Иуды хватило совести на самоубийство из раскаяния, и создал легенду, не без остроумия объясняющую смерть предателя корыстными соображениями, вполне в духе Иуды: «Повешусь, – думает себе, – пойду в ад; а Христос, как будет вызволять людские души из пекла, и мою вызволит!» Ни одно дерево не хотело принять на себя предателя, кроме осины: за то она и наказана. Другая легенда вешает Иуду на бузине, – за то она не годится для построек, и дьявол её любит.

надо вбить в стену вербовый колышек, и испуг не будет иметь вредных последствий; вербою отбиваются от водяного, от вампиров; верба спасает поля от града, мышей и кротов, а дома – от пожара; если бросить вербу против ветра, она укрощает бурю; чтобы домашний скот был здоров, его выгоняют на первый подножный корм освящённою вербою; чехи кормят ею коров, чтобы у них не портилось молоко, клады, по богемскому поверью, тоже открываются лишь при помощи свячёной вербы. В Малороссии верят, что кто пойдёт к заутрене под Светлый день с свячёною вербою и станет смотреть сквозь ветки вербы на собравшийся народ, тому обнаружатся колдуны и ведьмы околотка, потому что все покажутся стоящими, как следует, а они – головами в низ, а ногами вверх. Чтобы увидеть ведьму, чехи советуют в Великую субботу зажечь в печи освящённую вербу: сейчас же явится баба и станет просить огонька взаймы. То и есть ведьма.

Любопытно, что, подобно буксу у народов романских, верба у западных славян дерево – то благословенное, то проклятое. Галицкое поверье объясняет, что

Коли жидове Христа мучили,
По распятию распинали,
Клюков за рёбра разбивали,
Терновый венец на голову клали.
Елевы шпильки за ногти били,
Всякое деревцо не легло в тельце,
Червива ива согрешила –
Иисуса Христа кровь пустила.

То верба гонит демонскую силу, то сама служит ей пристанищем, настолько постоянным, что у всех славянских народов существует одинаковая пословица – «влюбился, как чёрт в сухую вербу». Таинственное значение вербы, впрочем, гораздо старше мистической роли её в христианстве. Литовцы воздавали вербе почести, считая её женщиною, по имени Блиндою, обращённою в дерево по зависти матери-земли к её плодородию. Венчание «вкруг ракитова куста» – исконный славянский обряд. Даже в христианские времена он имел законную силу, а наш Стенька Разин, захватив власть на Дону, ввёл его, как господствующую брачную церемонию, приказав казакам венчаться не в храмах, но около верб.

Знаменитый своею красотою путь от Ниццы до Генуи, по Ривьере, – сплошной сад почти тропической растительности. На пути этом, близ известного курорта Сан-Ремо, есть пустынь св. Ромула. Здесь и на высотах Бордигеры искони существует промысел пальм, доставляемых бордигерцами в Рим к Вербному воскресенью, на что они имеют даже особую привилегию – старинную, от папы Сикста V. По легенде, привилегия эта заслужена находчивым советом одного бордигерца, когда ставили известный обелиск на площади Св. Петра. Чтобы не развлекать рабочих, поднимавших страшную тяжесть драгоценного античного памятника, зрителям сооружения было запрещено папским указом, под страхом смертной казни, произносить хоть одно слово, пока обелиск не очутится на пьедестале. Толпа хранила молчание, но работа не спорилась. Наконец, гранитная масса двинулась, – канаты напряглись, готовые перегореть и лопнуть. Это заметил один рыбак из Бордигеры. Забыв о папском приказе, он закричал на всю площадь:

– Мочите верёвки! мочите верёвки!

И тем предотвратил уже почти неизбежную катастрофу, грозившую уничтожить обелиск и передавить его громадою множество народа. В воздаяние за заслугу бордигерца и дарована благодарным папою его родному городу пальмовые монополии Вербного воскресенья.

Почтение, оказываемое во всём христианском мире пальмам – эмблеме мученичества, торжества добра над злом, – имеет также свою легенду.

«Во время бегства в Египет, Св. Семейство вошло в некоторый большой город. Тотчас же во всех городских храмах все идолы попадали с алтарей и разбились в куски, а жители стали метаться по улицам с воплями ужаса, отчаяния и мести. Святым путникам пришлось бежать из города в пустыню, не захватив, второпях, никакой снеди.

Вскоре Дева Мария почувствовала голод и жажду. Остановились на роздых в тени смоковницы. Вблизи возвышалась финиковая пальма, отягчённая плодами. Пресвятая Дева сказала:

– Как охотно вкусила бы я этих плодов, если бы можно было достать их!

Св. Иосиф трясёт дерево, но плоды не падают. Пробует сшибить их палкою, но не в силах добросить её до кистей своею старческою рукою. Он печально покачал головою и сказал:

– Финики растут слишком высоко. Пойдём дальше. Авось, найдём другую пальму, более доступную.

Но Мария была слишком утомлена и голодна. Она заплакала. Тогда Младенец Иисус повелел:

– Пальма, прекрасная пальма! наклонись, подай свои плоды Моей кроткой Матери.

Пальма наклонилась, и Богородица сорвала фиников сколько хотела, после чего пальма снова выпрямилась, покрытая плодами пышнее прежнего. Тем временем Младенец Иисус, посаженный Богоматерью на землю, между корнями смоковницы, погрузил ручку Свою в песок, – и из-под перстов Его хлынул обильный ручей, утоливший жажду путников. Прежде чем продолжать дорогу, Иисус обратился с благодарностью к пальме, напитавшей Его Мать:

– За это Я повелю Моим ангелам перенести одну из твоих ветвей в рай Моего Отца; а на земле ты будешь, в знак Моего благословения, служить венцом для всех мучеников и воителей за веру. Им будет сказано: Вы заслужили пальму победы!»

В Риме предпасхальные торжества начинаются раздачею пальмовых ветвей в храме св. Петра. Монахи возлагают ветви, разукрашенные позолотою, лентами, билетиками с текстами из св. Писания, на алтарь св. Петра; затем, в великолепных корзинах, подносят их папе. Он восседает в нише на троне, окружённый кардиналами, прелатами, принцами, посланниками. Папа благословляет пальмы и раздаёт их свите. Затем папу несут в торжественной процессии, под балдахин, с тиарою на голове и пальмовою ветвью в руке, к главному входу собора; он стучит своим посохом в двери, – *attollite portas principes vestras!* Когда папа возвращается, в своих носилках, к алтарю, церковь наполняется резкими и протяжными звуками длинных библейских труб, гремящих с высоты. Хор гласит: *tu es Petrus, ecce sacerdos magnus etc.* Эффект поразительный, необычайный даже в богатой эффектами католической церкви. Потом свершается месса, мрачное пение Страстей Господних; народу открываются мощи – часть Живо-творящего Креста, плащаница, подлинное копьё, коим было прободено Тело Спасителя, и т. д.

В средневековом Париже, по многочисленности в нём монастырей и монашеских орденов, свершалось в Вербное воскресенье не мало процессий всякого рода. Самая популярная – процессия св. Женевьевы – описана современником в таком порядке:

«В этот день, после утренней службы, в сопровождении большой и нарядной толпы, процессия от всех коллегий, подчинённых парижскому архиепископу, идут крестным ходом, без пения, в церковь *Sainte Geneviève du Mont*; у входа в сию церковь архиепископ благословляет вербы (*les rameaux*), произнося установленные молитвы. Потом спускаются, по улице св. Иакова, к воротам *Petit-Châtelet*, близ которых дома украшены плющом и зеленью и по обе стороны улицы устроены скамейки для господ каноников. Поётся антифон (*Gloria, laus et honor*), после чего господин архиепископ, одетый в праздничные ризы, стучит в двери тюрьмы, возглашая *attollite portas*. Смотритель тюрьмы отмыкает затворы, и архиепископ, войдя в темницу, освобождает одного из узников, который затем следует с процессией до собора *Notre Dame*, неся шлейф мантии архиепископа, *pro gratiarum actione*».

Так начиналась Страстная неделя, средневековая *la semaine d'angoisse*. В церквах, после литургий, представлялись мистерии: «Плач трёх Марий», воспеваемый канониками в женских костюмах древней Иудеи; моление о чаше; масличный сад с пещерою; «служба путников» или явление в Эммаусе, тоже с костюмами и декорациями; Тайная Вечера и Иуда-предатель; сошествие во ад; воскресение Лазаря; «представление Пасхальной ночи» и т. д. Духовенство каждый день занимало толпу новыми зрелищами на темы священных воспоминаний, то трогательными, то страшными, угрожающими. Эти мистерии производили сильное впечатление и не мало способствовали обаянию и могуществу духовенства в старом Париже.

В знак траура, колокола и даже маленькие колокольчики у алтарей безмолвствовали. На звонарне *Notre Dame*, начиная с полудня чистого четверга до пасхальной заутрени, стучали в знаменитое деревянное било, время службы возвещалось прихожанам детьми, которые бегали по улицам с трещотками. В северных департаментах Франции и в Лотарингии обычай детской беготни сохранился до девятнадцатого века; по крайней мере в шестидесятых годах он ещё существовал.

Некоторые странные обычаи, сопряжённые в средние века с Вербным воскресением, имели, вообще, очень долгий век. Так – жители *Chaumont* около пятисот лет справляли весьма дикий обряд, именуемый «Шомонскою чертовщиною» («*La Diablerie de Chaumont*»). В Вербное воскресенье, двенадцать граждан Шомона, по предварительному избранию, определялись... в черти! Их одевали дьяволами: в страшные маски с рогами, в широкое платье из чёрной материи, испещрённой огненными языками. Черти следовали за вербною процессиею, в числе других молящихся, и пели гимн: *qui est iste rex gloria?* Когда отверзались церковные врата, черти в храм не входили, а расходились по городу и деревням, чтобы взимать налог с иногородних обывателей, приехавших в *Chaumont* на праздники. Этот насильственный сбор поступал в пользу чертей – на поправку их обстоятельств. Многие, запутавшись в долгах, домогались «попасть в черти», как особой чести. Обычай возник в XIII веке, а уничтожен был в 1760 году, при чём были сожжены на костре и нелепые костюмы шомонских чертей. «Шомонская чертовщина» пользовалась в Шампани такую популярность, что любопытные посмотреть на это дурачество съезжались из окрестности за тридцать, за сорок лье.

Flagellation del'Alleluia – Вербное бичевание аллилуйи – праздновалось преимущественно в городах по Верхней Марне, в неделю пред Пасхою, причём особенно славился им город Лангр. В Тулоне «аллилуйю» хоронили с большою торжественностью, как знатного покойника. В Лангре же с нею поступали гораздо хуже: её выгоняли из церкви плетьюми. Церковные правила выработали целый ритуал этой странной церемонии. На игрушке, в роде волчка, писали золотыми буквами слово аллилуйя. Дети из церковного хора, в час, определённый уставом, приближались к месту, где находился волчок, с крестом и хоругвями. Начиналось бичевание: волчок вертелся под ударами хлыста, а дети пели псалмы и гимны, пока не выгоняли, таким образом, крутящуюся аллилуйю из храма, желая ей на прощание – *bon voyage jusqu'à Pague prochain*. В других местностях, например, в *Auxerre*, аллилуйю умерщвляли, хоронили, воскрешали. Дети из хора справляли этот обряд по субботам, в неделю о блудном сыне. После обедни они приносили в церковь, с рыданиями и вздохами, гробик – якобы с умершею «аллилуйею», а в св. субботу праздновали её воскресение. Обычай – языческий, связанный, быть может, ещё с доисторическою стариною. Он напоминает и плач о мёртвом Адонисе, как описал его Феокрит, и похороны Костромы, как справляют их пензенские и симбирские бабы: аллегория смерти и возрождения солнечного божества – мифическую основу почти всех культов. Связь мнимо-христианских обрядов похорон и воскресения «аллилуйи» с древнеязыческими похоронами и воскресением весенней жизнерадости хорошо выясняется сближением французского обряда с поверьями чехов и моравов. Они называют воскресенье недели о блудном сыне – «смертною неделею» и поют ему обрядовую песню такого содержания:

«– Смертная неделя! кому ты отдала ключи от земли?»

- Я отдала их Вербному воскресенью.
- Вербное воскресенье! куда ты девало ключи?
- Я отдала их Чистому четвергу.
- Чистый четверг! куда ты девал ключи?
- Я отдал их св. Юрию.

Св. Юрий вставал и отмыкал землю, чтобы росла трава – трава зелёная».

До изобретения колоколов, аллилуйя – вопль духовной радости – служила призывом верующих к молитве. Именно в Аухегге, при знаменитом Ажио, воспитавшем свой музыкальный вкус в Италии, раздались впервые, за пасхальной мессой, звуки музыкального инструмента *serpent*, изобретённого местным каноником Эдмоном Вильгельмом. Этот примитивный инструмент теперь попадаетея ещё в иных захолустных церквях.

Легенда, древняя, почти как само христианство, гласит, что в пещере Гефсиманского сада, где Христос пролил кровавые слёзы, скрывались некогда – по изгнании из рая – прародители человечества; что на этой же Голгофе, где воздвигся крест во искупление первородного греха, были погребены его виновники. Когда Христос умер, Адам и Ева, при вихре и землетрясении, вышли из гроба, склонились пред Божественным Страдальцем и, обмакнув персты в Его святую кровь, первые из людей начертали на своих челах знак креста, их искупившего.

Вечный жид, выходя из Иерусалима, видел прародителей человечества – на Голгофе, у трёх крестов. Их казнь кончилась, его начиналась. Он оскорбил праотцов ужасными словами и, спустившись с лобного места, исчез в пустыне...

Зеленые святки

Май и начало июня, переход от весны к лету, – лучшее время года в средневропейских землях: пора владычества солнца и могучего расцвета сил оживлённой вешними чарами природы, – пора зелени, цветов, гроз и тёплых плодотворных дождей, пора любви животных и растений, – пора, когда перелётные птицы спариваются и завивают гнёзда в «зелёном шуме» молодой листвы рощ, лесов и садов. Жизнь и верования первобытного обитателя средней Европы и, в особенности, Европы славянской, тесно сближались с жизнью природы, одухотворённой и обоготворённой в тысячах антропоморфических образов. Чуткое ко всем стихийным переменам внимание полудиких языческих народов не могло не отозваться на великий праздник вешнего возрождения природы эхом символических общественных празднеств.

Дни, в которые христианство справляет Вознесение Христово, Пятидесятницу, Рождение Иоанна Крестителя, были священными днями на огромном пространстве славянских земель между Эльбой, Дунаем и Днепром задолго до того, когда свет Христовой веры разлился по этим странам, когда быт их населения покорен был церковному чину и календарю. Весьма может быть, что, первоначально, счастливое совпадение – точное или приблизительное – торжеств церковного календаря с праздничным календарём стихийного язычества сослужило добрую службу делу христианского миссионерства в славянских поселениях. Консерватизм обычая гораздо сильнее и упорнее в славянской среде, чем консерватизм убеждения, и славянские неопиты гораздо легче расставались с самыми старыми богами своими, чем с порядками, обрядами и приметами своих отцов и дедов и – на первом месте – с их празднествами. Видя, что новая вера не только не отменяет, но и сама торжественно справляет привычные ему великие дни, язычник шёл навстречу миссионерам уже с меньшим предубеждением: он рассчитывал найти в новых мехах старое вино, под новою, чужою, пришлою формою – прежнюю родную суть.

Особенно ярко сказались эти календарные компромиссы старого язычества с молодым христианством именно в вешних празднествах Вознесения, Семика, Троицкой субботы, Троицына и Духова дня и т. д. В эпоху поклонения одухотворённым стихиям эти дни были посвящены апофеозу «весны-красны», победоносного божества, окончательно восторжествовавшего над загнанной на дальний безвестный север колдуньей-зимой, чествованию начала, всё животворящего и возрождающего. Характер языческих празднеств от переименования их в празднества христианские изменился весьма мало, и, надо полагать, последующий вред языческого календаря значительно превысил первоначально принесённую было им пользу: по крайней мере, на первых же страницах летописи русской мы встречаемся с жалобами духовенства на весенние беснования народа, как на явное доказательство крепко засевшей в нём идолопоклоннической закваски. Против этих празднеств ополчается Нестор (под 1067 годом), а Кирилл Туровский относит их к числу «злыхъ и скверныхъ д?ль, ихъ же ны Христоръ велить отступити».

Справляемые во всём славянском мире, без исключений, и всюду по довольно схожему ритуалу, вешние празднества всюду носили и одно и то же название, лишь подвергавшееся у разных племён этимологическим вариациям, соответственным языку и говору народа. Название это – русалии, русалка, risale и т. д. Название недели по Троицыне дне русальною сохранилось в народе до нашего времени; в старину же оно было общеупотребительным и распространённым настолько, что, несмотря на свой ярко-языческий характер, попало и в хартии летописцев, в общем весьма ревнивых к христианскому календарю, и даже в книги духовных писателей, для которых внедрение христианского календаря и уничтожение остатков идольской старины являлись прямыми обязанностями. Название священных вешних дней по русалкам – самое ясное свидетельство, что в дни эти предки наши праздновали не только зримое

возрождение природы, но и возвращение к жизни и деятельности стихийных духов, её оживляющих, – вместе с нею уснувших на зиму и вместе с нею очнувшихся от спячки. В особенности характерно в этом смысле название «Русальчин Велик День», т. е. Светлое Воскресение русалок, до сих пор прилагаемое на Украине к четвергу Троицкой недели. Как уже говорил я в очерке «Неурожай и суеверие», миф о русалках до того сложен, настолько разнообразно и пёстро разработан народным суеверием, что точного исследования его хватило бы на целую диссертацию. Мы встречаем русалку в народных сказаниях то как деву водную, то как деву лесную, то как житного духа, т. е. гения посевов, нив и лугов, то как грешную душу утопленницы, младенца, некрещёного или проклятого родителями, и т. д. Русалка, для древнего славянина, являлась, таким образом, каким-то пантеистическим коэффициентом ко всякому явлению в природе в летние её месяцы.

Таким образом, разбирая легенды и обряды, сопровождающие Пятидесятницу – быть может, самый богатый символами праздник христианства – необходимо помнить, что легенды и обряды эти формулировались, так сказать, в три слоя. Внизу – прямые, откровенно-языческие остатки древнего стихийного верования, переживания пантеистических культов; над ними – приспособления языческих обрядов на новый лад, к христианским взглядам, нравам и понятиям; сверху – поэтические наслоения, непосредственно христианского происхождения.

Христианская эмблема праздника Пятидесятницы – огненный язык и белый голубь, символизирующие сошествие Св. Духа на апостолов. Первый символ исторически объяснён во второй главе Деяний апостольских. Голубь, ещё до христианства, почитался птицею свящею едва ли не во всех языческих культурах: голубкою улетела с земли Семирамида, голубками запряжена колесница Афродиты, голубь был единственною птицею, терпимою в Дельфах, голубка дала дар пророчества оракулу Додонскому; в культурах спиритуалистических птица эта пользуется таким же уважением: Моисей заповедал женщинам, приходящим в храм за очистительною молитвою, приносить в жертву двух голубей. Христианская символика воспользовалась всеобщим почтением к красивой и всюду любимой птице, чтобы облечь в её образ самые священные тайны свои: представление о Духе Святом и идею бессмертия души, причём первое олицетворение освящено авторитетом Евангелия (Марка, I, 10). Св. Духа, в виде голубя, встречаем мы на каждом образе Св. Троицы, Благовещения, Крещения Господня. Воображение народов христианских привыкло к этому олицетворению настолько же, насколько привыкло узнавать прообраз Христа в агнце, прообраз Творца-Вседержителя во Всевидающем Оке, заключённом в сияющий лучами треугольник. Наши русские сектанты, претендуя на способность непосредственных вдохновений от Духа Святого, зовут себя в честь Третьего Лица Св. Троицы белыми голубями.

Что касается идеи бессмертия души, то обычай олицетворять последнюю в виде белой или сизой голубки лишь усвоен и широко развит христианством; и славянский, и германский народы издревле были убеждены, что душа человека по смерти долгое время летает на земле птицею, – и по преимуществу голубем. Этот грациозный миф разветвился в сотни преданий. Насколько широко было его распространение и как долго держалось оно в сознании народном, может дать понятие следующий пример. В 1754 году, в апреле, умер некий гофмейстер Чоглоков. В открытое окно спальни его жены влетела птица и села на картине против постели; увидя птицу, Чоглокова вообразила, будто прилетела душа её мужа, и разубедить её в этом не было никакой возможности. Анекдотами, сопряжёнными с этим поверьем, можно бы заполнить много страниц.

Изображение голубя археологи находят на древнейших гробницах и базиликах христианских, вместе с пальмою, эмблемою мученичества, и рыбою, эмблемою Христа. Известно католическое изображение дев-мучениц – с голубями на правом плече, между тем, как слева вьётся крылатый дьявол, нащёптывая невестам Христовым злые искушения отступничества. В сред-

невековом Париже, в церквах Notre Dame и у St. Jacques la Boucherie, на Троицын день, когда раздавался гимн Veni Creator, белый голубь слетал из купола к алтарю. В ту же минуту, с хор, выпускали стаи птиц, бросали в народ цветы, облатки и зажжённую паклю. Каноники уверяли народ, будто всё это падает с неба, причём каждому достаётся по делам его – к кому благоволит Бог, тому цветы и облатки, на кого Он гневен, тому зажжённая пакля. Попасть под то или другое считалось верным предзнаменованием успеха или худа на будущий год. Вне гадательного значения, церемония эта, возникшая в падкие до духовных мистерий средние века, была, конечно, грубою попыткой изобразить сошествие Св. Духа на апостолов, как рассказано оно в Деяниях – однородною с тем, как у гроба Господня имитируется возжжение огня небесного. Обычай, только что рассказанный, до сих пор держится во Фландрии. С ним связана легенда о начале процветания знаменитой парижской таверны «Сошествия Св. Духа» на Птичьем мосту, как прозвал народ Pont Marchand, построенный в 1609 году. Дочь первого хозяина таверны, по имени Коломбетта, т. е. голубка отправилась на Троицу к обедне в Notre Dame. Когда началась церемония с птицами, белый голубь, вместо того, чтобы лететь к алтарю, спустился на голову Коломбетты и, испуганный шумом толпы, забился в капюшон девушки. Суеверные парижане огласили Коломбетту избранницею Божиею; тысячи людей стекали поглазеть па дочь трактирщика, как на святую, – и, понятное дело, таверна отца Коломбетты стала процветать и процвела. Репутация дома Коломбетты держалась весьма долго и прочно, из поколения в поколение.

Заимствуя какой-либо символ из языческого наследия, христианство всегда старалось, по мере сил, затушевать его подлинное происхождение, изобретая в объяснение его самостоятельные легенды. Таково католическое сказание, – почему голубь стал священной птицею, удостоился воплощать Духа Святого и символизировать всё чистое, прекрасное и возвышенное в области веры. Счастливая виновница этой благодати – голубка, выпущенная Ноем из Ковчега всемирного потопа. Когда вода поглотила землю, дьявол, довольный, что довёл человечество до столь ужасной казни Божией, удалился в чёрную тучу, висевшую как раз над Араратом, и едва обнажилась вершина горы, спустился на неё, готовый наброситься на первое живое существо, которое окажется спасённым от потопа. Существом этим оказался ворон, выпущенный Ноем из ковчега. Дьявол научил птицу питаться мясом трупов, которые всюду гнили в изобилии, – и ворон, насыщая свою утробу, забыл об ожидавшем его хозяине, остался вековать на свободе. Вслед затем, как гласит Библия, Ной выпустил на разведку голубку.

Дьявол пытался развратить трупоядением и эту птичку, – но вид ворона, клюющего мёртвые тела, привёл её в ужас и она поспешно возвратилась к Ною, неся в клюве масличную ветвь (эмблему мира и спасения), а сама стала с тех пор эмблемою чистоты, верности и кротости. Голубка с масличною ветвью в клюве, как видно из легенды, – самый подходящий герб для вегетарианских обществ.

Обычай украшения в Троицын день церквей и домов цветами и зеленью принадлежит ко второму наслоению, т. е. к разряду языческих переживаний, молчаливо признанных христианскою церковью правоспособными под условием, что свершаться они будут во имя Христа, Божией Матери, Св. Духа, а не старых стихийных богов. В великорусской семицкой берёзке в соответствующих ей украинском «тополе», белорусском «кусте», сербских, «красицах» и тому подобных, прямо, можно сказать, бесчисленных, но однородных и однообразных обрядах и символах народ чтит забытую им лесную деву, оживающую в зелени дубрав или самую богиню весну, одевающую деревья листьями и цветами. Но поёт он при этом не о лесной деве и не о богине весне, а

Благослови, Троица,
Богородица!
Нам в лес пойти,

Нам венки завивать,
?Ай Дидо, ой Ладо!
Нам венки завивать
?И цветы сорывать.

Нельзя придумать лучшей характеристики народному празднику Троицы – «зелёным святкам», как слынут на Руси три последние дня седмицы недели, Троицын и Духов день – чем только что приведённая песня, молящая «Троицу-Богородицу» о разрешении исполнить старый языческий обычай, поминая старых, таинственных Дида и Ладу – богов летнего плодородия, любви и брачных связей. Обычай справлять зелёные святки далеко не ограничен одними славянскими землями. Мы находим его и в Германии, и во Франции, и в Англии. В мемуарах 1615 года, написанных аббатисой Ремиремона Катериною Лотарингской, мы читаем, что в Духов день восемь окрестных приходов обязаны были являться в монастырь, причём поселяне несли в руках ветви разных деревьев и кустарников. Каждый приход пел особо ему присвоенный псалом и должен был сделать монастырю определённое приношение. В том числе, деревня Сен-Реми обязывалась поднести капитулу блюдо снега за неимением же его – двух белых быков. Блюдо снега, тающего под солнечными лучами, являлось эмблемою побеждённой, уничтоженной колдуньи – зимы, забытой среди победоносного ликования зелёных святков. Курьёзно, что вслед за описанною процессией в Ремиремоне, аристократическом монастыре, начиналось нечто в роде именно русалий, проклятых нашим Кириллом Туровским: монахини должны были танцевать во дворе аббатства. Первый танец принадлежал аббатисе, а второй капитулу. «Если же дама-аббатиса не хочет или не может участвовать в танце, принадлежит ей предоставить себе заместительницу. Также требуют инокини, чтобы граждане ремиремонские являлись на праздник ей в оружии, и был после обеда смотр и парад, и шли бы они пред инокинями в церковь и через двор аббатства по разным башням». В одной из башен аббатиса предлагала ремиремонцам угощение, и они пили, любуясь как во дворе монастыря пляшут инокини. Во всё продолжение этого странного визита, в церкви горела лампада, приносимая тоже ремиремонцами.

Католическое духовенство всегда отличалось умением взять власть над народом, – где не хватало силы, хитростью, где нельзя было победить предрассудка, оно поддельвалось под предрассудок, стараясь лишь влить в его старые мехи вино новое. Миссионер-иезуит, преклонившийся перед Буддою, подкинув предварительно к подножию кумира маленький крестик – католический тип, живой во все века и во всех странах. Не в состоянии воспрепятствовать троицким сборищам народным, св. Медар, епископ Нионский задумал по крайней мере облагородить их, вложить в них начала нравственные, поучительные. С этою целью он учредил в Саланси особый обряд выдачи премии за добродетель, справлявшийся ежегодно в Троицын день. Это – пресловутый обряд «розьеры». Девушку, отличавшуюся особым благонравием в течение целого года, епископ торжественно украшал венком из белых роз, в награду за доброе поведение. Первую награду получила сестра епископа Гертруда – девица, как гласит легенда, весьма страстного темперамента, однако, блистательно отражавшая искушения диавольские. С эпохи Людовика XIII, по почину самого короля, к розовому венку были прибавлены голубая лента и золотое кольцо. Св. Медар переработал изобретённый им обряд из старинного, ещё в XIII веке отмеченного летописцами права синьоров Саланси выбирать для себя самую красивую и добродетельную девушку селения. Таким образом, разврат по праву *primaе noctis* перешёл в торжество добродетели. До XVIII века праздник «розьеры» был привилегиею Саланси, но при Людовике XV, т. е. точно на смех, в самый беспутный исторический период Франции, распространился по всей стране, проник даже в Германию. Ламбер и Делилль воспевали праздник «розьеры» стихами, Гретри написал на сюжет его оперу, музыку из которой долгое время пели при торжестве. Революция смела своим вихрем старинный праздник с лица

земли повсюду кроме Нантерра, близ Версаля, где он и посейчас справляется, причём венчает «розьеру» уже не епископ, но мэр местечка. Оффенбах жестоко осмелел устаревший обычай в «Синей Бороде» и едва ли не был прав: премии за добродетель совсем не к лицу современному французскому простонародью, – героям «La Terre», «Жерминаль» и т. д.; где тысячами рождаются Буллоты, там поздно искать Жанну д'Арк.

Обычай избрания молодой девушки в царицы праздника, выродившийся во Франции в торжество «розьеры» – в тех или других видоизменениях, держится повсеместно. В Англии это – lady of the may, в Германии – Maibraut, у чехов – кралька. В наиболее чистом виде мы встречаем обряд в Малороссии («тополя») и на Полесье («куст»). В Сербии Троицын день называется праздником кралиц и справляется следующей церемонией. Десять или пятнадцать девушек, из которых одна представляет знаменосца (баряктара), другая краля, третья, под покрывалом, королеву или (кралицу), четвёртая её прислужницу (дворкиню), с плясками и песнями ходят по деревне, останавливаясь перед каждым двором. В этих песнях говорится всего больше о выборе невесты, о свадьбе, о счастливом супружестве, о родительском счастье; каждый стих сопровождается припевом «лело!» – именем древнеславянского божества любви. В хороводной песне рассказывается о женских божествах, вилах, пляшущих под деревом, о том, как Родиша (вероятно, мужское божество, так как Лело – женское) собирает перед ними росу с цветов и листьев и сватается за одну из вил (Л. Ранке). В Орловской губернии, в Севском уезде, троицкий припев «Леле ми!» также сохранился; любопытно, что троицкое гулянье называется в этой местности «Троянами», напоминая, быть может, о том таинственном Трояне, чей неясный след, на великое мучение мифологов, мелькнул в «Слове о полку Игореве». В Зарайском уезде выбирают девушку в «русалки». В одной рубашке, с распущенными волосами, верхом на кочерге, с помелом через плечо, она идёт впереди шумной процессии баб и девок, которые поют песни и бьют в заслон. Ребятишки дразнят русалку, пока процессия не выйдет из деревни и не приведёт русалку ко ржам. Здесь русалка бросается в толпу и, схватив первую встречную женщину, принимается её щекотать. Начинается драка и свалка; русалке приходится уже защищаться, а не нападать. Наконец ей удаётся вырваться и спрятаться в рожь. «Теперь, кричат все: мы русалку проводили, можно будет везде смело ходить!» Толпа возвращается к домам. Русалка, посидев немного в поле, тоже крадётся задками в деревню. Народ же всю ночь до самой зари гуляет на улице (П. Шейн). На ржах справляют Троицын день и во Владимирской губернии довольно сложную церемонией, которая и название-то имеет «колосок», причём «колоском» избирается самая красивая девочка села, из подростков лет 11–12.

Все эти обряды, в некотором роде, мистерии, театральные представления на старо-языческие темы. Но во многих местностях сохранились и совершенно идольские игрища. Таков обряд троицкой куклы в Воронежской и Рязанской губерниях; таков почти повсеместный в средних губерниях России обряд «гостейки»: молодую берёзку одевают в женское платье и ставят в лучшей избе деревни; между Семиком и Троицыным днём в ней ходят в гости, величают её, а вечером Троицына дня – топят в реке.

В очерке «Неурожай и суеверие» было указано, как народ связал земное плодородие с волею усопших. В вешние дни, когда всё в земле оживает, предполагается народными поверьями, что и души усопших на воле. Христианство поддержало это убеждение днём Св. Духа, когда, как и в Семик, народ привык поминать своих родных покойников. Мертвецов, отшедших в вечность с миром, естественною смертью, напутствованных по установленному религиозному обряду, поминает церковь. Но, кроме этих счастливых покойников, есть множество несчастных. Это – души младенцев, умерших некрещёными, проклятых матерями в утробе или до крещения, утопленниц, удушенных и, вообще, женщин и девиц, самопроизвольно лишивших себя жизни, то есть, вообще, души неудостоенных христианского погребения. Взрослых из этого отверженного сонмища народ зовёт, как сказано, русалками, младенцев – мавками. Троицын и Духов день – единственное время года, когда можно спасти этих малюток от веч-

ного проклятия. Они носятся над землёю, вымаливая у живых людей себе крещения. Заслышав голос мавки, надо громко произнести обрядовую формулу: «прощаю тебя во имя Отца, Сына и Св. Духа!» и отслужить панихиду на первой неделе Петровского поста. Если в течение семи лет мавка не дожждётся ни того, ни другого, она становится русалкою, проклятою без возврата к спасению.

Это – поверье христианское и христианским благочестием комментированное. Но Афанасьев хорошо замечает, что – когда не было ни христианства, ни, следовательно, христианского погребения, – то не только души погибших преждевременною или насильственной смертью, но и вообще все души усопших, как предполагалось – становились русалками и мавками и, выходя весною из оттаявшей земли, наполняли собою природу. Славянский пантеизм не допускал исчезновения души из мира. Отшедшая из людского круга, она жила близ людей в мотыльке, в птице, в дереве, в речном тумане, из причудливых клубов которого родились для народной фантазии мавки и русалки. Вешнее время – пора наибольшей чуткости их к отжитой жизни, пора, когда живой может войти с ними в ближайшее общение с особою лёгкостью и удобством; если он станет просить их, – просьба его будет услышана; будет чтить их, – почёт примется благосклонно и непосредственно. И, с верою этою, наивный язычник действительно, чтит всё, что в воскрешающей природе могло напомнить ему о воскрешающей душе, кланялся дереву, заново одетому в зелень, и рядил его в ленты и цветные платья; освобождал птицу и кормил её, потому что видел в ней прообраз души, улетающей на волю из могильного мрака; справлял русалочки праздники. В заблуждениях его было так много поэзии, они так соблазнительно сближали человека с природою, душу его с мировою душою, что даже забыв содержание старых суеверий, мы не могли расстаться с их формами. Эстетика превозмогла, и мы до сих пор торжественно кормим птиц в Троицу, одеваем дома свои зеленью, рубим берёзки, хвалим Дида и Ладо, хотя всё это давным-давно потеряло для нас свой истинный тайный смысл. Привычка к поэзии стихийной веры, таким образом, оказалась сильнее, прочнее и долговечнее самой веры. И, как бы широко ни шагал прогресс, надо думать, что привычка эта будет жить вечно – до тех пор, пока весны сменяют зиму, пока в шуме лесов, птичьим стрекоте, жужжании пчёл и жуков будет слышаться человеку таинственный голос, возвестивший некогда Святому Оттону величественные слова от имени славянского бога весны Яровита: «Я – твой бог; я – тот, который одевает поля муравою и листьями леса; в моей власти – плоды нив и дерев, приплод стад и всё, что служит на пользу человека: всё это я даю чтущим меня и отнимаю у отвергающих меня».